

Изабелла Баварская

Автор:

Александр Дюма

Изабелла Баварская

Александр Дюма

Женские лики – символы веков

Александр Дюма (1802–1870)?– знаменитый французский писатель, завоевавший огромную популярность своими историческими приключенческими романами. На страницах его книг живут яркие, сильные духом, отважные и мужественные герои, свято отстаивающие идеалы добра и справедливости.

В этом томе представлен роман «Изабелла Баварская», действие которого разворачивается во Франции во времена Столетней войны. В центре повествования любовные страсти Изабеллы и умопомрачение ее супруга Карла VI Безумного, целых два десятилетия служившие причиной кровавых распрей высшей французской знати в конце XIV – начале XV века.

Александр Дюма

Изабелла Баварская

Предисловие

Одно из завидных преимуществ историка, этого властелина минувших эпох, состоит в том, что, обозревая свои владения, ему достаточно коснуться пером древних развалин и истлевших трупов, и перед глазами вот уже возникают

дворцы и воскресают усопшие: словно подчиняясь гласу Божьему, по его воле голые скелеты снова покрываются живою плотью и облакаются в нарядные одежды на необозримых просторах человеческой истории, насчитывающей три тысячелетия. Ему достаточно по собственной прихоти наметить своих избранников, назвать их по их именам, и те тотчас поднимают могильные плиты, сбрасывают с себя саван, откликаясь, как Лазарь на призыв Христа: «Я здесь, Господи, чего хочешь Ты от меня?»

Разумеется, надо обладать твердой поступью, чтобы не страшась спуститься в глубины истории; повелительным голосом, чтобы вопрошать тени прошлого; уверенной рукой, чтобы записать то, что они продиктуют. Ибо умершие хранят порою страшные тайны, которые могильщик закопал вместе с ними в могиле. Волосы Данте поседели, пока он слушал рассказ графа Уголино, а взгляд его стал так мрачен, щеки покрылись такой мертвенной бледностью, что, когда Вергилий вновь вывел его из ада на землю, флорентийские женщины, догадавшись, откуда возвращается сей странный путник, говорили своим детям, указуя на него пальцем: «Поглядите на этого мрачного, скорбящего человека – он спускался в преисподнюю».

Если оставить в стороне гений Данте и Вергилия, мы вполне сможем сравнить себя с ними, ибо ворота, что ведут в усыпальницу аббатства Сен-Дени и вот-вот распахнутся перед нами, во многом подобны вратам ада: и над ними могла бы стоять та же самая надпись. Так что, будь в руках у нас факел Данте, а проводником нашим Вергилий, нам недолго пришлось бы бродить среди гробниц трех царствующих родов, погребенных в склепах старинного аббатства, чтобы найти могилу убийцы, чье преступление было бы столь же отвратительно, сколь преступление архиепископа Руджиери, или могилу жертвы, чья судьба так же плачевна, как судьба узника Пизанской башни.

Есть на этом обширном кладбище, в нише слева, скромная гробница, возле которой я всегда в задумчивости склоняю голову. На ее черном мраморе рядом друг с другом высечены два изваяния – мужчины и женщины. Вот уже четыре столетия они покоятся здесь, молитвенно сложив руки: мужчина вопрошает Всевышнего, чем он Его разгневал, а женщина молит прощения за свою измену. Изваяния эти – статуи безумца и его неверной супруги; целых два десятилетия умопомешательство одного и любовные страсти другой служили во Франции причиной кровавых раздоров, и не случайно на соединившем их смертном ложе вслед за словами: «Здесь покоятся король Карл VI Благословенный и королева Изабелла Баварская, его супруга» – та же рука начертала: «Помолитесь за них».

Здесь, в Сен-Дени, мы и начнем листать темную летопись этого удивительного царствования, которое, по словам поэта, «прошло под знаком двух загадочных призраков – старика и пастушки» – и оставило в наследство потомкам лишь карточную игру, этот насмешливый и горький символ вечной шаткости империй и удела человеческого.

В этой книге читатель найдет немного светлых, радостных страниц, зато слишком многие будут нести на себе красные следы крови и черные – смерти. Ибо Богу угодно было, чтобы все на свете окрашивалось в эти цвета, так что он даже превратил их в самый символ человеческой жизни, сделав ее девизом слова: «Невинность, страсти и смерть».

А теперь откроем нашу книгу, как Бог открывает книгу жизни, на светлых ее страницах: страницы кроваво-красные и черные ожидают нас впереди.

Глава I

Двадцатого августа 1389 года, в воскресенье, к дороге из Сен-Дени в Париж с самого раннего утра стали стекаться толпы людей. В этот день принцесса Изабелла, дочь герцога Этьена Баварского и жена короля Карла VI, впервые в звании королевы Франции совершала торжественный въезд в столицу королевства.

В оправдание всеобщего любопытства надо сказать, что об этой принцессе рассказывали вещи необыкновенные: говорили, что уже при первом свидании с нею – было это в пятницу 15 июля 1385 года – король в нее страстно влюбился и с большой неохотой согласился со своим дядей, герцогом Бургундским, отложить приготовления к свадьбе до понедельника.

Впрочем, на этот брачный союз в королевстве смотрели с великой надеждой; известно было, что, умирая, король Карл V изъявил желание, чтобы сын его заключил брак с баварской принцессой, дабы тем самым сравняться с английским королем Ричардом, женившимся на сестре германского короля. Вспыхнувшая страсть юного принца как нельзя более отвечала последней воле его отца; к тому же придворные матроны, осматривавшие невесту, удостоверили, что она способна дать короне наследника, и рождение сына

спустя год после свадьбы лишь подтвердило их многоопытность. Не обошлось, разумеется, и без зловещих прорицателей, каковые находятся в начале всякого царствования: они пророчили недоброе, поскольку пятница – день для сватовства неподходящий. Однако ничто пока еще не подтверждало их предсказаний, и голоса этих людей, осмелюсь они говорить вслух, потонули бы в радостных криках, которые в день, коим мы начинаем наш рассказ, невольно рвались из тысячи уст.

Поскольку главные действующие лица этой исторической хроники – по праву рождения или по своему положению при дворе – находились рядом с королевой или следовали в ее свите, мы с позволения читателя двинемся сейчас вместе с торжественным кортежем, уже готовым тронуться в путь и ожидающим только герцога Людовика Туренского, брата короля, которого заботы о своем туалете, говорили одни, или ночь любви, утверждали другие, задержали уже на целых полчаса. Такой способ знакомства с людьми и событиями хоть и не нов, зато весьма удобен; к тому же в картине, которую мы попытаемся набросать, опираясь на старые хроники[1 - Авторы, подробнее всего повествующие о въезде королевы Изабеллы Баварской в Париж, это Фруассар, Ювенал Юрсен и монах из монастыря Сен-Дени. (Здесь и далее примечания А. Дюма.)], иные штрихи, быть может, будут не лишены интереса и своеобразия.

Мы уже сказали, что в это воскресенье здесь, на дороге из Сен-Дени в Париж, народу собралось такое множество, будто люди явились сюда по приказу. Дорога была буквально усеяна людьми, они стояли, тесно прижавшись друг к другу, словно колосья в поле, так что эта масса человеческих тел, настолько плотная, что малейший толчок, испытываемый какой-либо ее частью, мгновенно передавался всем остальным, начинала колыхаться, подобно тому, как колыхается зреющая нива при легком дуновении ветерка.

В одиннадцать часов раздавшиеся где-то впереди громкие крики и пробежавший по толпе трепет дали наконец понять истомленным ожиданием людям, что сейчас должно произойти нечто важное. И действительно, вскоре показался отряд сержантов, палками разгонявших толпу, а за ними следовали королева Иоанна и дочь ее, герцогиня Орлеанская, для которых сержанты расчищали путь среди этого людского моря. Чтобы волны его не сомкнулись позади высоких особ, за ними двумя рядами двигалась конная стража – тысяча двести всадников, отобранных из числа самых знатных парижских горожан. Всадники, составлявшие этот почетный эскорт, были одеты в длинные камзолы зеленого и алого шелка, головы их были покрыты шапками, ленты которых

спадали на плечи или развевались на ветру, когда его легкий порыв освежал вдруг знойный воздух, смешанный с песком и пылью, поднимаемой копытами лошадей и ногами идущих. Народ, оттесненный стражей, вытянулся по обеим сторонам дороги, так что освободившаяся ее часть представляла собой как бы канал, окаймленный двумя рядами горожан, и по этому каналу королевский кортеж мог двигаться почти без помех, во всяком случае, куда легче, чем это можно было предположить.

В те далекие времена люди выходили встречать своего короля не из простого любопытства: они питали к его особе чувство почтения и любви. И если тогдашние монархи снисходили иногда к народу, то народ еще и в помыслах своих не осмеливался подниматься до них. Подобные шествия в наше время не обходятся без криков, без площадной брани и вмешательства полиции; здесь же каждый старался устроиться, как мог, а поскольку дорога проходила над окружавшими ее полями, люди изо всех сил старались взобраться как можно выше, чтобы удобнее было смотреть. Мгновенно они заняли все деревья и крыши в округе, так что не было ни одного дерева, которое от макушки до нижних ветвей не оказалось бы увешанным диковинными плодами, а в домах, с чердака и до нижнего этажа, появились незваные гости. Те же, кто не осмелился карабкаться так высоко, расположились по обочинам дороги; женщины вставали на цыпочки, дети взбирались на плечи своих папаш – словом, так или иначе, но каждый нашел себе местечко и мог видеть происходящее, либо взирая на него поверх конных стражников, либо скромно заглядывая в просветы между ногами их лошадей. Едва утих шум, вызванный появлением королевы Иоанны и герцогини Орлеанской, которые ехали во дворец, где их ожидал король, у поворота главной улицы Сен-Дени показались долгожданные носилки королевы Изабеллы. Пришедшим сюда людям, как уже было сказано, очень хотелось взглянуть на юную принцессу, которой не исполнилось еще и девятнадцати лет и с которой Франция связывала свои надежды.

Впрочем, первое впечатление, произведенное ею на толпу, возможно, и не вполне подтверждало слух о ее исключительной красоте, который предшествовал появлению Изабеллы в столице. Ибо красота эта была непривычная: все дело в том резком контрасте, который являли собой ее светлые, отливающие золотом волосы и черные как смоль брови и ресницы – приметы двух противоположных рас, северной и южной, которые, соединившись в этой женщине, наделили ее сердце пылкостью молодой итальянки, а чело отметили горделивым высокомерием германской принцессы[2 - Как известно, королева Изабелла была дочерью герцога Этьена Баварского Ингольштадт и Тадеи Миланской.].

Что же до всего остального в ее облике, то более соразмерных пропорций для модели купающейся Дианы ваятель не мог бы и пожелать. Овал ее лица отличался тем совершенством, которое два столетия спустя стали называть именем великого Рафаэля. Узкое платье с облегающими рукавами, какие носили в те времена, подчеркивало изящество ее стана и безупречную красоту рук; одна из них, которую она, быть может, более из кокетства, нежели по рассеянности, свесила через дверцу носилок, вырисовывалась на фоне обивки, подобно алебастровому барельефу на золоте. В остальном фигура королевы была скрыта; но при одном взгляде на это грациозное, воздушное существо нетрудно было догадаться, что нести его по земле должны ножки сказочной феи. Странное чувство, которое охватывало едва ли не каждого при ее появлении, очень скоро исчезало, и тогда пылкий и нежный взгляд ее глаз обретал ту завораживающую власть, которую Мильтон и другие поэты, творившие после него, приписывают неповторимой, фатальной красоте своих падших ангелов.

Носилки королевы двигались в сопровождении шести знатнейших вельмож Франции: впереди шли герцог Туренский и герцог Бурбонский. Именем герцога Туренского, которое поначалу может смутить наших читателей, мы называем здесь младшего брата короля Карла VI, юного прекрасного Людовика Валуа, четыре года спустя получившего титул герцога Орлеанского, титул, который он столь громко прославил своим незаурядным умом, бесчисленными любовными приключениями и выпавшими на его долю горестями; год назад он женился на дочери Галеаса Висконти, прелестной девушке, воспетой поэтами под именем Валентины Миланской, чьей красоты оказалось недостаточно, чтобы удержать подле себя этого златокрылого мотылька. Он и впрямь был самым красивым, самым богатым и самым элегантным вельможей королевского двора. При одном взгляде на этого человека становилось ясно, что все в нем дышит счастьем и молодостью, что жизнь ему дана, чтобы жить, и он действительно живет в свое удовольствие; что на пути его могут встретиться и невзгоды и несчастья, но он всегда сумеет от них уйти; что беспечная голова этого светлокудрого, синеглазого юноши не создана, чтобы долго хранить важную тайну или печальную мысль, ибо как ту, так и другую быстро выболтают эти легкомысленные и, как у женщины, розовые уста. На нем был изумительной красоты наряд, сшитый специально для этого случая, и носил он его с неподражаемым изяществом. Наряд этот представлял собой черный на алой подкладке бархатный плащ, по рукавам которого вилась вышитая розовой нитью большая ветка: на ее украшенных золотом стеблях горели изумрудные листья, а среди них сверкали рубиновые и сапфирные розы, по одиннадцать штук на

каждом рукаве; петли плаща, похожие на старинный орден французских королей, были расшиты струящейся узорчатой строчкой, наподобие цветов дрока, обрамленных жемчугом; одна его пола целиком была заткана золотым изображением лучистого солнечного диска, избранного королем в качестве своей эмблемы, заимствованной у него потом Людовиком XIV; на другой же, той, что была ближе к носилкам и привлекала взгляды королевы, ибо в складках ее явно скрывалась какая-то надпись, прочесть которую ей очень хотелось, – на этой поле, повторяем, серебром был выткан связанный лев в наморднике, ведомый на поводке чьей-то протянутой из облака рукой, и стояли слова: «Туда, куда я пожелаю». Эту роскошную одежду дополнял алый бархатный тюрбан, в складки которого была вплетена великолепная жемчужная нить; концы ее свисали вниз вместе с концами тюрбана, и, беседуя с королевой, герцог одной рукой держал поводья своей лошади, а другою, свободной, перебирал жемчужную нитку.

Что до герцога Бурбонского, то задерживаться на нем мы не станем. Скажем только, что это был один из тех вельможных принцев, которые, будучи потомками или предками выдающихся людей, вписывают и свое имя в историю.

Позади следовали герцог Филипп Бургундский и герцог Беррийский, братья Карла V и дядья нынешнего короля. Тот самый герцог Филипп, что в битве при Пуатье разделил печальную участь короля Иоанна и его лондонское пленение, заслужив на поле брани и в застенке прозвание Смелого, которое дал ему отец и подтвердил потом Эдуард, когда однажды, во время трапезы, виночерпий английского короля налил своему господину прежде, чем королю Франции, за что юный Филипп дал виночерпию пощечину и спросил: «Кто это, любезный, учил тебя прислуживать вассалу прежде, чем сеньору?»

Вторым был герцог Беррийский, вместе с герцогом Бургундским правивший Францией после того, как Карл VI лишился рассудка, и своею скупостью содействовавший разорению королевства не меньше, чем герцог Орлеанский своим расточительством.

Следом за ними шли мессир Пьер Наваррский и граф д'Остреван. Но так как они не принимали заметного участия в событиях, о которых мы намереваемся рассказать, отошлем наших читателей, желающих познакомиться с ними подробнее, к немногочисленным жизнеописаниям, им посвященным.

Следом за королевой, не в носилках, а верхом на роскошно украшенном коне, в сопровождении графа Неверского и графа де ла Марша медленно двигалась герцогиня Беррийская. И здесь снова одно из двух имен затмит собою другое, и имя менее заметное померкнет в тени более заметного. Ибо граф Неверский, сын герцога Филиппа и отец Карла, станет однажды Жаном Бургундским. Отца его называли Смелым, сыну дадут прозвание Отважный, а для него самого история уже приготовила имя Неустрашимый.

Графу Неверскому, 12 апреля 1385 года вступившему в брак с Маргаритой де Эно, было в то время не больше двадцати – двадцати двух лет; невысокого роста, но крепкого сложения, он был очень хорош собой: хоть и небольшие, светло-голубые, как у волка, глаза его смотрели твердо и сурово, а длинные прямые волосы были того иссиня-черного цвета, представление о котором может дать разве что вороново крыло; его бритое лицо, полное и свежее, дышало силой и здоровьем. По тому, как небрежно держал он поводья своей лошади, в нем чувствовался искусный всадник: несмотря на молодость и на то, что он еще не был посвящен в рыцари, граф Неверский успел уже свыкнуться с боевыми доспехами, ибо не упускал случая закалить себя и приучить к трудностям и лишениям. Суровый к другим и к самому себе, нечувствительный к жажде и голоду, холоду и зною, он принадлежал к тем твердокаменным натурам, для которых обычные жизненные потребности ровно ничего не значат. Гордый и заносчивый со знатными и всегда приветливый с людьми простого звания, он неизменно внушал ненависть себе равным и был любим теми, кто стоял ниже его; подверженный самым бурным страстям, но умеющий прятать их в своей груди, а грудь прикрывать латами, этот железный человек был непроницаем для людских взглядов, и в душе его клокотал вулкан, казалось бы потухший, но снедавший его изнутри; когда же он считал, что подходящий момент наступил, он неудержимо устремлялся к цели, и горе тому, кого настигала рокочущая лава его ярости. В этот день – только для того, разумеется, чтобы не походить на Людовика Туренского, – наряд графа Неверского был подчеркнута прост: он состоял из более короткого, чем предписывала мода, лилового бархатного камзола без украшений и вышивки, с длинными с разрезами рукавами, перетянутого на талии стальным сетчатым поясом с сияющей на нем шпагой; на груди между отворотами виднелась голубого цвета рубашка с золотым ожерельем вместо воротника; на голове у него был черный тюрбан, складки которого скрепляла булава, украшенная одним-единственным бриллиантом, но зато это был тот самый бриллиант, который под названием «Санси» составил впоследствии одну из величайших драгоценностей французской короны[3 - Этот бриллиант, находившийся во время Грансонского сражения среди сокровищ Карла Отважного, попал в руки швейцарцев, в 1492 г.

в Люцерне был продан за 5000 дукатов и оттуда попал в Португалию, в собственность дона Антонио, настоятеля монастыря де Карто. Будучи последним представителем ветви Брагансов, потерявший трон, дон Антонио прибыл в Париж, где и умер. Бриллиант был куплен Никола Арле де Санси (1546–1629), откуда и пошло его название. Помнится, в последний раз его оценили в 1 820 000 франков.]

Мы столь подробно описали двух этих знатных вельмож, которых неизменно будем видеть возле короля, ибо наряду с печальной и поэтической личностью Карла и с пылкой и страстной Изабеллой они являлись главными фигурами этого несчастного царствования. Ради них одних Франция раскололась на две враждующие партии и обрела как бы два сердца, из которых одно билось во имя герцога Орлеанского, а другое – герцога Бургундского: каждая партия, разделяя любовь и ненависть того, кого она избрала своим предводителем, знала только его любовь и его ненависть, забыв при этом все остальное, в том числе и своего короля, который был их общим господином, и саму Францию, бывшую их общей матерью.

По краю дороги, чуть в стороне, на белой лошади ехала госпожа Валентина, которую мы уже представляли читателю в качестве супруги юного герцога Туренского; она покинула свою родную Ломбардию и впервые прибыла во Францию, где ей все было ново и все поражало блеском роскоши. Справа ее сопровождал мессир Пьер де Краон, любимый фаворит герцога Туренского, в одежде, которая напоминала наряд герцога и которую этот последний заказал для него в знак особой к нему дружбы. Мессир Пьер был с герцогом примерно одних лет, так же хорош собою и так же, как герцог, выглядел веселым и беспечным. Однако достаточно было взглянуть на него чуть пристальнее, чтобы в темных его глазах заметить отблеск страстей неукротимых и понять, что это одна из тех волевых натур, которые всегда добиваются своей цели, продиктована она ненавистью или любовью, и что немного проку сулит его дружба, тогда как вражды его следует опасаться.

По левую руку от герцогини шел коннетабль Франции, сир Оливье де Клиссон, в железных доспехах, которые он носил с такой же легкостью, с какой другие сеньоры носили свой бархатный наряд. Сквозь поднятое забрало его шлема виднелось открытое, честное лицо старого воина, и длинный шрам, пересекавший его лоб, кровавый след сражения при Орэ, свидетельствовал о том, что своей шпагой, украшенной лилиями, человек этот обязан не интригам и не чьему-то благорасположению, но верной и доблестной службе. В самом деле,

Клиссон, родившийся в Бретани, воспитание получил в Англии, но восемнадцати лет возвратился во Францию и с тех пор отважно и храбро сражался в рядах королевской армии.

Познакомив читателя с обрисованными выше лицами, остальных участников свиты мы назовем лишь по имени: то были герцогиня Бургундская и графиня Неверская, которых сопровождали мессир Анри де Бар и граф Намюрский. За ними следовала герцогиня Орлеанская верхом на роскошно и со вкусом украшенном коне, которого вели под уздцы мессир Жак Бурбонский и мессир Филипп д'Артуа. Далее ехали герцогиня де Бар с дочерью, сопровождаемые мессиром Карлом д'Альбрэ и сеньором де Куси, одно имя которого наверняка пробудило бы множество воспоминаний, даже если бы мы и не поспешили напомнить здесь его девиз: «Ни принц, ни граф я, боже упаси: зовусь я господином де Куси» – самый скромный, а быть может, и самый горделивый из девизов вельмож того времени.

Мы не станем перечислять сеньоров, дам и девиц, которые следовали позади, одни верхом, другие в закрытых экипажах: достаточно сказать, что, когда голова процессии, где находилась королева, уже вступила в предместье столицы, пажы и оруженосцы, составлявшие ее хвост, еще даже не вышли из Сен-Дени. На всем пути юную королеву встречали ликующими рождественскими возгласами, которыми народ обычно приветствовал своих королей, ибо в те времена, в эпоху глубокой веры, люди не находили иных слов, полнее выражавших радость, чем слова, напоминавшие о рождении Спасителя. Нет, пожалуй, надобности добавлять, что взоры мужчин были прикованы к Изабелле Баварской и Валентине Миланской, а взоры женщин – к герцогу Туренскому и графу Неверскому.

Подойдя к воротам Сен-Дени, процессия остановилась: здесь для королевы было приготовлено первое место отдыха – нечто вроде синего шелкового шатра с куполом, наподобие небесного свода, усеянного золотыми звездами. Среди плывущих облаков сидели переодетые ангелами дети и тихо напевали нежные мелодии, услаждая слух красивой молодой девушки, изображавшей Богородицу. На коленях она держала мальчугана – как бы младенца Христа, – который вертел в своих ручонках крестик, выточенный из крупного ореха, а небо над ними, украшенное гербами Франции и Баварии, озарялось лучами сверкающего золотом солнца, которое, как мы уже сказали, являлось эмблемой короля. Королева была восхищена этим зрелищем и очень хвалила его устроителей. Когда же ангелы кончили свои песнопения и она вдоволь на все насмотрелась,

двери в глубине шатра неожиданно распахнулись и взору предстала превращенная в огромный шатер широкая улица Сен-Дени, со всеми ее домами, украшенными полотнищами из камплота и шелка, так что можно было подумать, говорит Фруассар, что ткани эти не стоили ни гроша, словно дело происходит в Александрии или Дамаске.

Королева на мгновение замешкалась; казалось, она не решается вступить в столицу, ожидавшую ее с таким нетерпением и встречавшую с такой любовью. Быть может, некое тайное предчувствие подсказывало этой юной и прекрасной женщине, чье прибытие праздновалось сейчас столь торжественно и пышно, что настанет день – и труп ее с отвращением и проклятиями вынесет из этого же самого города какой-то лодочник, которому смотритель дворца Сен-Поль прикажет передать останки Изабеллы Баварской насельникам монастыря Сен-Дени...

Как бы то ни было, она продолжала свой путь; заметно было только, что она слегка побледнела, вступая на эту длинную улицу, кишашую народом, которому стоило чуть податься вперед, чтобы раздавить королеву вместе со всей ее свитой.

Однако ничего этого не случилось, горожане оставались на своих местах, и вскоре процессия подошла к фонтану под голубым пологом, расписанным золотыми лилиями; вокруг него на высоких колоннах были вывешены гербы самых знатных французских фамилий; вместо воды из фонтана широкой струей изливалось чудесное вино, сдобренное редчайшими заморскими пряностями, а возле колонн стояли молодые девушки, держа в руках золотые кубки и серебряные чаши, в которых они подносили вино Изабелле и вельможам ее свиты. Желая приветить одну из девушек, королева взяла у нее кубок, поднесла ко рту и тотчас отдала обратно; тогда герцог Туренский, быстро выхватив у девушки этот кубок, казалось, нашел то самое место, где его касались губы Изабеллы, и, прижав кубок к своим губам, разом проглотил напиток, к которому прикоснулись уста королевы. Побледневшие щеки ее сразу вспыхнули, ибо выходка герцога была совершенно недвусмысленной, и, хотя все произошло очень быстро, она не осталась незамеченной. Действительно, в тот же вечер при дворе люди самых различных мнений сходились на том, что герцог поступил весьма дерзко, позволив себе подобную вольность в отношении супруги своего короля и повелителя, а королева выказала редкую к нему снисходительность, в знак неудовольствия только слегка покраснев.

Впрочем, впечатление, произведенное этим случаем, вскоре было рассеяно новым зрелищем: королевский кортеж прибыл к воротам монастыря Святой Троицы, где заранее воздвигли помост в форме амфитеатра, на котором должна была быть разыграна битва христиан с султаном Саладином. Христиане уже стояли строем по одну сторону, сарацины – по другую, и в каждой группе нетрудно было узнать участников этого знаменитого сражения: актеры были облачены в доспехи XIII века с гербами и девизами тех, кого они изображали. В глубине помоста сидел французский король Филипп-Август, а вокруг него стояли двенадцать пэров его королевства. В ту минуту, когда носилки королевы остановились перед помостом, король Ричард Львиное Сердце вышел вперед, преклонил колени перед Филиппом-Августом и спросил у него позволения идти сражаться против сарацин. Филипп-Август милостиво дал ему свое королевское согласие. Ричард тотчас встал, направился к своим воинам, построил их для боя и тут же повел на неверных. Завязалась жаркая схватка, в которой сарацины были побеждены и обратились в бегство. Часть беглецов спаслась, воспользовавшись тем, что окна соседнего монастыря были на одном уровне с помостом и что их нарочно оставили открытыми. Это не помешало победителям захватить еще и много пленных. Король Ричард подвел их к королеве Изабелле, которая попросила даровать им свободу и, сняв с руки золотой браслет, отдала его в награду победителю.

– О, – воскликнул при этом герцог Туренский, склонившись перед королевскими носилками, – если бы знать, что эта награда достанется актеру, я никому не уступил бы роли короля Ричарда!..

Изабелла взглянула было на свой второй браслет, сверкавший на другой ее руке, но тотчас спохватилась, поняв, что выдает свои мысли, и сказала, обращаясь к герцогу Туренскому:

– Не слишком ли вы легкомысленны, герцог? Играть подобную роль пристало шуту или клоуну, но брату короля она не к лицу.

Герцог Туренский хотел что-то ответить, однако Изабелла подала знак к отправлению и, повернувшись к герцогу Бурбонскому, заговорила с ним, ни разу не взглянув на своего деверя до тех пор, пока кортеж не прибыл ко вторым воротам Сен-Дени, носившим название Порто-о-Пэнтр и разрушенным в царствование Франциска I. Тут были установлены декорации, изображавшие великолепный замок и так же, как у первых ворот, усыпанный звездами небосвод, на котором величественно восседала Святая Троица: Бог Отец, Бог

Сын и Бог Дух Святой; дети вокруг пели хором торжественные гимны. При появлении королевы распахнулись райские врата, и оттуда выпорхнули два прелестных ангелочка с нарисованными крылышками – один в голубом платье, другой в розовом. На головках у них сияли золотые венки, а ножки были обуты в башмачки, расшитые серебром. Ангелы держали в руках пышную золотую корону с вкрапленными в нее драгоценными камнями.

Приблизившись к королеве, они возложили эту корону ей на голову, напевая:

Живущая в цветах лилий!

Зовет вас госпожой своей

Париж и весь французский край —

Так пусть об этом знает рай!

С этими словами прелестные ангелы вознеслись на небо, и врата за ними закрылись.

Между тем по другую сторону ворот королеву ожидали новые лица, о чем ее потихоньку предупредили, ибо без этой меры предосторожности вид их мог бы, пожалуй, и напугать ее. То были несшие балдахин депутаты шести купеческих гильдий; они издавна пользовались правом при въезде королей и королев Франции в Париж сопровождать их от ворот Сен-Дени до дворца. За депутатами следовали выборные от различных ремесленных цехов, одетые в причудливые костюмы и изображавшие семь смертных грехов – Гордыню, Сребролюбие, Блуд, Гнев, Зависть, Чревоугодие, Лениность, – а также семь христианских добродетелей: Веру, Надежду, Любовь, Мудрость, Мужество, Справедливость, Воздержание. Чуть поодаль, образуя отдельную группу, стояли Смерть, Чистилище, Ад и Рай. Хотя королева и была заранее предупреждена, маскарад этот подействовал на нее столь неприятно, что она даже зажмурилась. Герцог Туренский в свою очередь был весьма недоволен тем, что ему приходится покинуть место рядом с Изабеллой, но выборные от цехов не желали уступать своего права сопровождать королеву от ворот Сен-Дени до дворца, шествуя по обе стороны ее носилок.

Герцог Бурбонский и другие вельможи тем временем уже успели занять свои места в свите. Видя, что герцог Туренский упорно от нее не отходит, Изабелла сказала ему:

– Не угодно ли вам будет, ваша светлость, самому уступить место этим почтенным людям или же вы ждете моего приказа удалиться?

– Да, ваше величество, – отвечал герцог, – я жду его... я жду взгляда, который дал бы мне силы вам повиноваться!

– Милостивый государь, – шепнула Изабелла, ближе наклонившись к своему деверю, – не знаю, увидимся ли мы сегодня вечером, однако не забудьте, что с завтрашнего дня я не только королева Франции, но еще и королева всех турниров и ристалищ и что браслет мой будет наградой победителю.

Герцог низко поклонился Изабелле. Те, что стояли в отдалении от места, где происходила описанная сцена, увидели в этом поклоне не более чем один из тех знаков уважения, оказывать которые своей королеве обязан всякий, будь он даже принцем крови; тем же немногим, кто находился ближе и взглядом мог проникнуть в узкий просвет между королевскими носилками и лошадью герцога, показалось, что его губы, коснувшись невесткиной руки, прижались к ней чуть более пылко и задержались чуть дольше, чем это было дозволено этикетом.

Как бы то ни было, но герцог приподнялся в седле, лицо его сияло восторгом и счастьем. Изабелла, опустив на глаза вуаль, украшавшую ее головной убор, в последний раз взглянула через эту прозрачную завесу на герцога; он же пришпорил коня и направился к своей супруге, чтобы занять подле нее место коннетабля Клиссона. В это время шесть депутатов от купеческих гильдий с двух сторон подошли к королевским носилкам, по три с каждой стороны, и подняли над Изабеллой роскошный балдахин; семь христианских добродетелей и семь смертных грехов проследовали за ними, а позади, с приличествующей им важностью, выступали Смерть, Чистилище, Ад и Рай. Процессия торжественным шагом тронулась в путь, но очень скоро это чинное шествие было нарушено довольно странным образом.

На углу улицы Ломбардцев и улицы Сен-Дени показались два всадника; они сидели верхом на одной лошади и что-то громко кричали; народа собралось такое множество, что можно было только дивиться тому, как этим людям удалось сюда проникнуть; они не обращали никакого внимания на угрозы и брань людей, которых буквально сбивали с ног; дерзость их дошла до того, что они не подчинялись даже полицейским сержантам и стоически сносили удары плетьюми, с помощью которых те пытались их задержать, – ни угрозы, ни побои их не останавливали: они продолжали протискиваться вперед, отбиваясь

направо и налево. Лошадь их рассекла грудью толпу, как корабль носом своим рассекает морские волны, и медленно, но неуклонно прокладывала себе путь сквозь людское скопище. В конце концов всадники достигли самого королевского кортежа, и все надеялись, что тут они остановятся и пропустят его. Но в ту самую минуту, когда мимо них проследовала королева Изабелла, один из всадников, казалось, дал своему товарищу, державшему поводья, какое-то приказание. Торопясь это приказание выполнить, всадник тотчас – и притом почти разом – ударил двух лошадей вооруженных стражников палкой по крупу и по голове. Одна лошадь рванулась вперед, другая отпрянула назад, так что между ними образовалось свободное пространство. Воспользовавшись этим, всадники мигом устремились к процессии, проскочили в двух шагах от герцогини Туренской, лошадь которой, испугавшись столь внезапного вторжения, наверняка сбросила бы с себя герцогиню, если бы сир де Краон вовремя не схватил животное за удила, и кинулась к королеве Изабелле, сбивая с ног и опрокидывая наземь Смерть и Чистилище, Ад и Рай, семь смертных грехов и христианские добродетели. Приняв двух всадников за злоумышленников или бесноватых, толпа подняла крик, а всадники тем временем успели уже приблизиться к королевским носилкам, преследуемые герцогами Туренским и Бурбонским, которые, опасаясь дурных намерений со стороны неизвестных, приготвилились в случае чего защитить королеву.

Изабеллу тоже изрядно встревожил поднявшийся шум. Причина его была ей еще неведома, когда между депутатами от купечества, несшими над ее головой балдахин, она вдруг заметила виновников возникшего беспорядка. Изабелла откинулась на своем сиденье, но в эту минуту один из двух всадников, сидевший позади, на крупе лошади, шепнул ей что-то вполголоса, приподнял шляпу, достал большую золотую цепь, украшенную крупными бриллиантами в виде лилий, быстро повесил ее на шею королевы, которая любезно поблагодарила за подарок, и, пришпорив коня, стремглав поскакал прочь. Почти в то же самое время возле королевы появились герцог Туренский и герцог Бурбонский. Ничего не видя, кроме того разве, что к королеве вплотную подъехала лошадь с двумя всадниками, они обнажили шпаги и стали кричать: «Смерть, смерть изменникам!» Народу вокруг было такое множество, что в поимке двух неизвестных можно было не сомневаться, тем паче что выбраться с улицы Сен-Дени всадникам стоило не меньшего труда, чем в нее проникнуть: все были настороже и ждали катастрофы. И тут королева, поняв, что происходит, приподнялась на подушках, простерла руки к обоим герцогам и закричала:

– Пойдите, что вы делаете? Ведь это же король!..

Герцоги мгновенно остановились. Боясь, как бы с королем не случилось чего худого, они едва не встали на стремянах и вытянули обнаженные шпаги в сторону толпы с громкими возгласами: «Это король, это король!» Потом, сняв шляпы, воскликнули: «Честь и слава королю!»

Король – ибо это был действительно Карл VI, сидевший на коне позади мессира Карла де Савуази, – в ответ на приветствия откинул свой капюшон, и по его длинным светло-русые волосам, по голубым глазам его, несколько крупному рту с великолепными белыми зубами и особенно по всей его изящной и благородной осанке народ узнал своего монарха, своего короля, которого он наперед, еще в день восшествия Карла на престол, нарек Благословенным и за которым сохранил это имя, несмотря на все невзгоды и бедствия, ознаменовавшие его царствование.

Приветственные возгласы «Да здравствует король!» раздавались со всех сторон: пажы и оруженосцы стали размахивать штандартами своих сеньоров, дамы махали шальями и платками; огромная процессия, которая, подобно гигантской змее, ползущей по оврагу, растянулась вдоль всей улицы Сен-Дени, заметно оживилась, все разом подались вперед, ибо каждому хотелось увидеть короля. Но, воспользовавшись тем, что он был узан и почтение к его особе заставило толпу расступиться, Карл успел уже скрыться из виду.

Прошло не меньше получаса, прежде чем порядок и спокойствие, нарушенные неожиданным происшествием, водворились вновь. Участники процессии были так возбуждены, что не сразу заняли свои места. В суматохе, вызванной заминкой, мессир Пьер де Краон язвительно заметил герцогине Валентине, что теперь только ее супруг, пожалуй, и задерживает шествие: вернись он на свое место рядом с нею, королевские носилки тронулись бы в путь, а за ними и вся процессия, но герцог по-прежнему разговаривает с королевой. Хотя герцогиня и пыталась ответить на это улыбкой, из ее груди вырвался затаенный вздох и взор ее подернулся печалью.

– Мессир Пьер, – сказала она, напрасно стараясь скрыть свое волнение, – почему бы вам не обратить этих слов к самому герцогу? Ведь вы же такие друзья!

– Без вашего приказаня, сударыня, я ни за что этого не сделаю: разве его возвращение не лишит меня счастья быть вашим телохранителем?

– Единственный мой защитник и хранитель – это герцог Туренский. И раз уж вы ждете моего приказа, то пойдите и скажите ему, что я прошу его вернуться.

Пьер де Краон отвесил поклон и отправился к герцогу передать просьбу его супруги. Когда они вместе приближались к герцогине Валентине, в толпе послышался пронзительный крик: какой-то девушке вдруг сделалось дурно. В подобных обстоятельствах такое случается, и посему высокие особы, о коих идет у нас речь, не обратили на это ни малейшего внимания. Даже не взглянув в ту сторону, откуда раздался крик, они подъехали к герцогине Туренской и заняли свои места рядом с нею. Процессия, казалось, только этого и ждала, ибо она тотчас же тронулась в путь. Однако очень скоро произошла новая заминка.

У ворот Шатле, на возвышении, был построен деревянный, раскрашенный под камень замок с двумя круглыми сторожевыми вышками, в которых находились вооруженные часовые; большое помещение в нижнем этаже было открыто взору публики, словно постройка не имела наружной стены; тут стояло ложе, убранное так же роскошно, как королевское ложе во дворце Сен-Поль, а на нем возлежала молодая девушка, олицетворявшая святую Анну.

Вокруг замка был насажен целый лес пышных зеленых деревьев, и по этому лесу бегало множество зайцев и кроликов; стаи разноцветных птиц перелетали с ветки на ветку, к глубочайшему удивлению зрителей, недоумевавших, каким образом удалось приручить столь пугливые создания. Но каков же был всеобщий восторг, когда из этого леса вышел прекрасный белый олень величиной с оленя из королевского зверинца. Он был так искусно сделан, что его вполне можно было принять за настоящего живого оленя: спрятанный внутри человек при помощи особого устройства приводил в движение его глаза, рот, ноги. Рога у оленя были позолочены, на голове сияла корона – точная копия королевской, а грудь украшал герб французского короля в виде щита с тремя золотыми лилиями на голубом фоне. Гордым, торжественным шагом благородное животное приблизилось к ложу Правосудия, схватило меч, служащий его символом, и потрясло им в воздухе. В ту же минуту из леса напротив появились лев и орел, олицетворявшие Насилие, и попытались завладеть священным мечом; но тогда из леса в свою очередь выбежали двенадцать девушек, символизирующих Веру, в белых одеяниях, с золотым ожерельем в одной руке и обнаженной шпагой – в другой; они окружили прекрасного оленя и защитили его. После нескольких слабых попыток осуществить свое намерение лев и орел оказались побеждены и возвратились обратно в лес. Живая стена, охранявшая Правосудие, расступилась, и олень, подойдя к носилкам королевы, покорно

опустился перед нею на колени. Королева ласково и нежно погладила оленя, как обыкновенно гладила животных в зверинце: она сама и вся ее свита сочли это представление очень забавным и милым. Между тем уже стемнело, и процессия двигалась очень медленно: разнообразные увеселения на всем пути от Сен-Дени сильно ее задержали. Наконец подошли к собору Парижской Богоматери, куда направлялась королева. Осталось проследовать по мосту Менял, и казалось, что ничего нового просто невозможно придумать, когда все увидели совершенно неожиданное и великолепное зрелище: высоко-высоко над головами, там, где уже кончаются башни собора, появился вдруг человек, переодетый ангелом. Он шел по тонкой, едва заметной глазу веревке, неся в каждой руке зажженный факел, и каким-то чудом словно парил над домами, выделявая самые замысловатые пируэты, пока не опустился на крышу одного из строений, окружавших мост[4 - Фруассар и монах из монастыря Сен-Дени рассказывают об одном и том же факте, только местом действия Фруассар называет мост Сен-Мишель, а монах – мост Менял. Но Фруассар явно ошибается: подобное зрелище не могло быть подготовлено на мосту Сен-Мишель, который находится по другую сторону собора Парижской Богоматери, и, следовательно, королева по нему не проезжала.]. Когда он оказался перед королевой, она запретила ему продолжать опасные трюки, но он, понимая, какими побуждениями вызван ее запрет, не посчитался с ним и, изловчившись, дабы не оказаться спиной к своей повелительнице, снова поднялся на вершину собора и исчез в том же самом месте, откуда появился. Королева любопытствовала, кто этот столь ловкий и гибкий человек, и ей объяснили, что он гемуэзец по происхождению, большой мастер на такого рода трюки.

Во время этого последнего представления в ожидании королевского кортежа на мосту Менял собралось множество продавцов птиц, и в ту минуту, когда королева пересекала мост, они раскрыли свои клетки с птицами и выпустили пернатых на волю. Таков был старинный обычай. Он выражал неизменную надежду народа на то, что новое царствование принесет ему новые вольности; обычай этот теперь забыт, но надежда в людях жива и поныне.

Возле собора королеву встречал парижский епископ. Он вышел на ступени храма, облаченный в митру и епитрахиль; вместе с ним были высшие священники и представители университета, коему прозвание старшего детища короля давало право быть представленным на коронации. Королева спустилась с носилок, а следом за нею и дамы ее свиты, тогда как кавалеры поручили лошадей своим пажам и слугам, и, сопровождаемая герцогами Туренским, Беррийским, Бургундским и Бурбонским, Изабелла вошла в собор. Впереди шествовали епископ и духовенство, стройным и торжественным хором вознося

хвалу Господу Богу и Пречистой Деве Марии.

Приблизившись к главному алтарю, королева Изабелла опустилась на колени и, сказав речь, передала в дар собору четыре золоченых покрывала и венец, который возложили на нее ангелы у вторых ворот Сен-Дени. Монсеньоры Жан де ла Ривьер и Жан Лемерсье в свой черед преподнесли ей венец, превосходящий первый красотой и ценностью: он очень напоминал тот, который украшал голову короля, когда он восседал на троне.

Держа венец за стебель лилии, епископ и с ним четыре герцога бережно возложили его на голову Изабеллы. Со всех сторон раздались ликующие крики, ибо именно с этой минуты принцесса Изабелла действительно становилась королевой Франции.

Когда королева вместе с вельможами вышла из собора, все вновь заняли свои места – кто в носилках, кто в экипаже, кто на лошади; по обеим сторонам королевского кортежа шестьсот служителей несли шестьсот свечей, так что на улице было светло как днем. Наконец королеву ввели в парижский дворец, где ее ожидал король вместе с королевой Иоанной, сидевшей по правую руку от него, и герцогиней Орлеанской, занимавшей место по левую. Представ перед Карлом, королева опустилась на одно колено, так же как сделала это в соборе, давая тем самым понять, что Бога она почитает своим владыкой на небе, а короля на земле. Король поднял ее и поцеловал; слышались возгласы радости и ликования, ибо при виде их, таких юных и таких красивых, народу почудилось, будто с небес спустились два ангела-хранителя Французского королевства.

Тут вельможи удалились из монарших покоев, и во дворце остались только члены королевской семьи; что же до народа, то он не покидал площади до тех пор, пока за последним вельможей не проследовал из дворца последний слуга. После этого дворцовые двери закрылись, огни, освещавшие площадь, мало-помалу погасли, и толпа растеклась по множеству расходящихся во все стороны улиц, которые, подобно артериям и венам, несут токи жизни столичным окраинам; вскоре радостное оживление превратилось в слабый гул, но и этот гул понемногу утих. Спустя час все уже погрузилось во мрак и тишину, так что слышен был лишь смутный глухой шум, в который сливаются неясные шорохи ночи, похожие на дыхание спящего великана.

Мы столь подробно описали въезд королевы Изабеллы в Париж, лиц, ее сопровождающих, и устроенные по сему случаю торжества не только для того,

чтобы дать читателю понятие о нравах и обычаях того времени; мы хотели также приоткрыть ему пока еще слабые и робкие, подобно рекам в своих истоках, роковые страсти и смертельную вражду, которые в ту пору только зарождались у трона: теперь мы увидим их бушующий ураган, увидим, как в своем безумии пронеслись они неудержимым вихрем над французской землей, оставив на ней столь глубокий след и принеся тяжкие бедствия этому несчастному царствованию.

Глава II

Вряд ли найдется такой романист или историк, которому удалось бы избежать метафизических преувеличений, когда речь идет о ничтожных причинах, порождающих грандиозные последствия. Ибо, проникая в глубины истории или сокровеннейшие тайники человеческого сердца, порою с ужасом дивишься тому, до чего же легко и просто самое, казалось бы, неприметное событие в ряду множества других неприметных событий, составляющих нашу жизнь, может потом обернуться катастрофой для отдельного человека, а то и целого государства. Вот почему поэты и философы, как в кратер потухшего вулкана, самозабвенно погружаются в изучение уже свершившейся катастрофы, прослеживая все ее перипетии и доискиваясь до самых ее истоков. При этом надо заметить, что люди, склонные к такого рода занятию, долго и с увлечением ему предающиеся, рискуют мало-помалу совершенно переменить свои воззрения и в зависимости от того, ведет ли их за собой светоч знания или пламенная вера, превратиться из атеистов в истинно верующих либо из верующих в атеистов. Ибо в причудливом сплетении событий одни видят лишь прихотливую игру случая, другие же надеются открыть мудрое вмешательство десницы Божьей; одни, подобно Уго Фосколо, говорят: «Рок»; другие же вслед за Сильвио Пеллико твердят: «Провидение»; но этим двум словам в нашем языке абсолютно равнозначны два других слова: «Отчаяние» и «Смирение».

Пренебрежение наших современных историков этими мелкими подробностями, этими любопытнейшими деталями, разумеется, и привело к тому, что изучение французской истории стало для нас делом скучным и утомительным[5 - Подобные упреки, разумеется, никогда не относились к Гизо Шатобриану и Тьерри.]; самое интересное в устройстве человеческой машины – не жизненно важные ее органы, а мускулы, которым эти органы сообщают силу, и сложное переплетение мельчайших сосудов, питающих эти органы кровью.

Вместо подобной же критики, которой нам самим хотелось бы избежать, нас, возможно, упрекнут в обратном; это связано с нашим убеждением в том, что как в материальном строении природы, так и в нравственной жизни человека, как в развитии живых существ, так и в чередовании исторических событий есть некий порядок, и ни одну из ступеней лестницы Иакова миновать невозможно, ибо всякая живая тварь связана с другими тварями, всякая вещь – с вещью, ей предшествующей.

Итак, по мере сил мы будем стараться, чтобы нить, соединяющая неприметные события с великими катастрофами, никогда не рвалась в наших руках, так что читателю останется лишь следовать за этой нитью, чтобы пройти вместе с нами по всем закоулкам лабиринта.

Мы сочли необходимым предварить этим замечанием главу, которая на первый взгляд может показаться неуместной после той, что читатель уже прочитал, и никак не связанной с теми, которые последуют далее. Правда, он очень скоро поймет свое заблуждение, но мы уже научены горьким опытом и опасаемся, как бы нас не стали судить поспешно, не успев ознакомиться с целым. После такого объяснения вернемся к нашему рассказу.

Если читатель готов пройти вместе с нами по безлюдным и темным парижским улицам, описанным в конце предыдущей главы, мы перенесемся с ним на угол улицы Кокийер и улицы Сежур. Едва очутившись здесь, мы тотчас заметим, что из потайной двери дома герцога Туренского, ныне дома Орлеанов, вышел человек; он был закутан в широкий плащ, капюшон которого полностью скрывал от взоров его лицо: человек этот не желал быть узнанным. Остановившись, чтобы сосчитать удары часов на башне Лувра – они проббили десять раз, – незнакомец, должно быть, решил, что время опасное: на всякий случай он вынул шпагу из ножен, согнул ее, дабы проверить, достаточно ли она прочна, и, удовлетворенный, беспечно зашагал вперед, острием шпаги высекая искры из мостовой и напевая вполголоса куплет старинной песенки.

Последуем же за ним улицей Дез-Этьюв, однако не будем спешить, ибо у Трагуарского креста он останавливается и произносит краткую молитву, затем вновь пускается в путь, идет вдоль широкой улицы Сент-Оноре, продолжая напевать свою песенку с того места, на котором ее прервал, и постепенно замолкая по мере приближения к улице Феронри; отсюда он уже молча следует вдоль ограды кладбища Невинноубиенных; пройдя три четверти ее длины, он

быстро, под прямым углом, пересекает улицу, останавливается перед маленькой дверью и трижды тихонько стучится в нее. Стук его, хоть и очень глухой, по всей вероятности, был услышан, ибо на него последовал вопрос:

– Это вы, мэтр Луи?

На утвердительный ответ незнакомца дверь отворилась и захлопнулась вновь, едва только он переступил порог дома.

Хотя поначалу казалось, что человек, которого называли мэтр Луи, очень спешит, он тем не менее остановился в сенях и, вложив шпагу в ножны, бросил на руки открывшей ему дверь женщины свой широкий плащ. Одет он был просто, но элегантно, в костюм конюшего из богатого дома. Костюм этот состоял из черной бархатной шапочки, такого же цвета бархатного камзола с разрезанными от кисти до плеча рукавами, сквозь которые виднелась рубашка зеленого шелка, и узких фиолетовых панталон; на них была вышита герцогская корона, а пониже— гербовый щит с тремя золотыми лилиями.

Хотя в сенях не было ни огня, ни зеркала, мэтр Луи, скинув с себя плащ, занялся своим туалетом, и, лишь как следует стянув камзол, чтобы он сидел по фигуре, и убедившись, что белокурые его волосы лежат гладко и ровно, он ласково произнес:

– Добрый вечер, кормилица Жанна. Ты надежный сторож, спасибо тебе. Что поделявает твоя прелестная госпожа?

– Она вас ждет.

– Вот я и явился. Она у себя, не правда ли?

– Да, мэтр Луи.

– А ее отец?

– Уже почивает.

– Превосходно.

В эту минуту носок его башмака коснулся первой ступеньки винтовой лестницы, и, хотя было темно, он уверенно стал подниматься наверх, как человек, хорошо знающий дорогу. На втором этаже он увидел свет, падавший через дверной проем, и, подойдя к двери и слегка толкнув ее рукой, оказался в комнате, обставленной скромно и просто.

Незнакомец вошел на цыпочках, так что его даже не услышали, и потому какое-то время мог наблюдать представшее его взору трогательное зрелище. Около кровати с витыми колоннами, занавешенной зеленым узорчатым штофом, на коленях стояла молодая девушка и молилась; на ней было длинное белое платье с ниспадающими до пола рукавами, скрывавшими по локоть округлые белые, с изящными тонкими пальцами руки, на которых покоилась ее голова. Длинные русые волосы, падая ей на плечи, подобно золотистой вуали, облегли ее тонкий стан и касались самого пола. Легкое одеяние девушки было так просто, так воздушно, что, если бы не сдержанные рыдания, выдававшие в ней земное существо, рожденное смертной женщиной и созданное для страданий, можно было бы подумать, что она принадлежит иному миру.

Услышав эти рыдания, незнакомец вздрогнул; девушка обернулась. Увидев ее печальное и бледное лицо, он остался недвижим.

Тогда она встала и медленно пошла навстречу юноше, который молча, с глубоким удивлением смотрел на нее; остановившись в нескольких шагах от него, девушка опустилась на одно колено.

– Что это значит, Одетта? – удивился он. – Как вы себя ведете?

– Иначе и не может вести себя бедная девушка в присутствии столь знатного вельможи, как вы, – ответила она, покорно склонив голову.

– Уж не бредите ли вы, Одетта?

– Дай бог, сударь, чтобы это был бред и чтобы, очнувшись, я вновь оказалась такой, какой была до встречи с вами: не ведающей слез, не знающей любви.

– Да вы с ума сошли, право, или кто-нибудь сказал вам неправду. Что случилось?

С этими словами он обвинил стан молодой девушки и поднял ее с пола; она отстранила его обеими руками, однако вырваться из его объятий ей не удалось.

– Нет, сударь, я не сошла с ума, – продолжала она, более не пытаюсь высвободиться из его рук, – и никто не говорил мне неправды: я сама вас видела.

– Где же?

– Во время торжественного шествия, сударь. Вы говорили с королевой, я вас узнала, хотя одеты вы были роскошно.

– Вы ошиблись, Одетта, вас обмануло сходство.

– Сперва мне тоже так показалось, и я уже готова была этому поверить! Но к вам подошел другой вельможа, и в нем я узнала того, кто позавчера приходил сюда вместе с вами, вы называли его вашим другом и говорили, что он, как и вы, тоже служит у герцога Туренского.

– Пьер де Краон?

– Да, кажется, мне называли это имя...

Немного помолчав, она с грустью продолжала:

– Вы, сударь, меня не видели, потому что смотрели только на королеву; вы не слышали, как я вскрикнула, когда мне вдруг стало дурно и я подумала, что умираю, ибо вы слышали только голос королевы. И это понятно: ведь она так красива! О... боже мой, боже!..

При этих словах бедняжка горько разрыдалась.

– Послушай, Одетта, – сказал юноша, – не все ли равно, кто я, если я тебя люблю?

– Не все ли равно?! – воскликнула девушка, пытаюсь высвободиться из его рук. – Вы спрашиваете, не все ли равно? Я вас, сударь, не понимаю.

Словно обессиленная, она склонила голову ему на грудь, продолжая смотреть ему в глаза.

– Что стало бы со мною, – говорила она, – если бы, посчитав, будто мы с вами ровня, я поверила вашим мольбам, поверила в то, что вы женитесь на мне, и уступила? Сегодня вечером вы наверняка нашли бы меня мертвой. Но вы очень быстро меня забыли: ведь королева так прекрасна!..

– Ты знаешь, Одетта, я и вправду тебя обманывал, выдавая себя за простого оруженосца: на самом же деле я герцог Туренский.

Одетта глубоко вздохнула.

– Но скажи, – продолжал он, – разве богатого и блестящего вельможу, каким ты видела меня вчера, ты любишь не больше, чем простого бедняка, каким видишь сегодня?

– Я, сударь, не люблю вас.

– Как?! Но ты же уверяла меня...

– Я могла бы любить оруженосца Луи, он был бы под стать бедной Одетте из Шан-Дивер, ради него я готова с радостью отдать свою жизнь. Чувство долга может заставить меня отдать ее и ради герцога Туренского, только на что она высокородному супругу герцогини Валентины Миланской, доблестному рыцарю королевы Изабеллы.

Герцог хотел было ответить, но в эту минуту в комнату вбежала перепуганная кормилица.

– О бедное мое дитя! – бросилась она к Одетте. – Что они хотят с вами сделать!

– Да кто же? – спросил герцог.

– Мэтр Луи, за мадемуазель пришли какие-то люди...

- Откуда они?

- Из Туренского дворца.

- Из дворца? - нахмурился герцог и бросил взгляд на Одетту. - Кто же прислал их? - продолжал он, недоверчиво глядя на кормилицу.

- Герцогиня Валентина Миланская.

- Моя жена?! - воскликнул герцог.

- Жена его?.. - в изумлении повторила Жанна.

- Да, его жена, - отвечала Одетта, опершись рукой на плечо кормилицы. - Перед тобой брат короля. У него есть жена, и, смеясь, он, должно быть, сказал ей: «На улице Феронри, неподалеку от кладбища Невинноубиенных младенцев, живет бедная девушка, к которой я прихожу каждый вечер, когда ее старый отец... Боже, как она меня любит!» - Одетта горько рассмеялась. - Вот что он ей сказал. И жена его, разумеется, хочет меня видеть.

- Одетта! - резко оборвал ее герцог. - Пусть я умру, если то, что вы говорите, правда. Я предпочел бы потерять все свое состояние, только бы не это. Клянусь вам, я узнаю, кто проник в нашу тайну, и горе тому, кто хотел так коварно подшутить надо мною!

С этими словами герцог бросился к двери.

- Сударь, куда вы? - остановила его Одетта.

- Никто, кроме меня, не вправе распоряжаться в моем доме, и я прикажу людям, которые посмели сюда прийти, немедленно убираться прочь!

- Вы, сударь, вольны делать что угодно, но ведь эти люди узнают вас. Они скажут герцогине, что вы здесь, о чем она, возможно, и не догадывается. Герцогиня сочтет меня виноватой куда больше, чем это есть на самом деле, и уж тогда мне не ждать пощады!

– Разве вы пойдете в Туренский дворец?

– Непременно пойду. Я встречу с вашей женой и сама во всем ей признаюсь. Я стану перед нею на колени, и она простит меня. И вас, сударь, она тоже простит, даже еще скорее...

– Поступайте, Одетта, как знаете, – сказал герцог, – вы всегда правы, мой ангел.

С печальной улыбкой Одетта сделала знак Жанне подать ей накидку.

– Как же вы доберетесь до дворца?

– Эти люди явились в карете, – ответила Жанна, набрасывая накидку девушке на плечи.

– Все равно я буду охранять вас! – воскликнул герцог.

– До сих пор, сударь, меня хранил Господь, и я надеюсь, и впредь будет моим хранителем.

При этих словах Одетта почтительно поклонилась герцогу и, уже спускаясь по лестнице, сказала, обращаясь к ожидавшим ее людям:

– Господа, я готова, ведите меня, куда вам угодно.

Герцог с минуту постоял в оцепенении там, где его оставила Одетта. Потом, выйдя из комнаты, он сбежал вниз по лестнице к наружной двери и ненадолго задержался у порога, глядя вслед удалявшейся карете. Увидев, что она направилась к улице Сент-Оноре, сам он помчался бегом по улице Сен-Дени, потом по улице О-Фер и, пересекши Хлебный рынок, оказался у своего дома как раз в ту минуту, когда карета въехала в улицу Дез-Этьев. Убедившись, что он ее обогнал, герцог проник в дом через ту самую потайную дверь, из которой вышел, и бесшумно проскользнул в одну из комнат, помещавшуюся рядом со спальней герцогини, откуда он в окошко мог наблюдать все, что там происходило.

Герцогиня Валентина стояла посреди комнаты в гневе и нетерпении: при малейшем шорохе она бросала взгляд на дверь, и полукружия ее великолепных темных бровей, столь украшавших ее лицо, когда оно было спокойным, сейчас почти смыкались друг с другом. Одета она была с большою роскошью, в лучшие свои наряды. Однако же она то и дело подходила к зеркалу, сиюсь придать своим чертам то выражение мягкости и доброты, которое составляло главную прелесть ее облика; потом она добавляла к прическе еще какое-нибудь драгоценное украшение, ибо ей хотелось раздавить, уничтожить дерзнувшую соперничать с нею женщину тяжестью как бы двойного гнета: и высоким своим саном, и своей неотразимой красотой.

Наконец герцогиня услышала шум в соседней комнате; она прислушалась, приложив руку ко лбу, а другой рукой стала искать опоры, схватившись за высокую спинку резного кресла; в глазах у нее потемнело, она почувствовала, что колени ее дрожат. В эту минуту дверь отворилась, и в спальню вошел слуга, доложив, что девушка, которую герцогиня желала видеть, ждет милостивого разрешения войти. Герцогиня знаком показала, что она готова ее принять.

Свою накидку Одетта оставила в прихожей и явилась в скромном уборе, в каком мы ее видели; только волосы свои она заплела в длинную косу, и, так как ей нечем было заколоть ее вокруг лба, коса ниспадала на грудь девушки и спускалась до самых колен. Одетта остановилась у двери, которая тотчас затворилась за ней.

Перед этим чистым и светлым видением герцогиня замерла в неподвижности: она была поражена скромностью и достоинством посетительницы, которую воображала себе, разумеется, совсем иною; почувствовав, что начать разговор следует ей, ибо она затеяла это свидание, герцогиня сказала мягким, прерывающимся от волнения голосом:

– Входите же, входите...

Одетта прошла вперед, потупив глаза, но лицо ее было спокойно; остановившись в трех шагах от герцогини, она опустилась на одно колено.

– Стало быть, это вы хотели лишить меня любви герцога? – обратилась к ней герцогиня. – И после всего вы полагаете, что достаточно вам преклонить предо мною колени, и я вас прощу?

Одетта быстро поднялась; лицо ее запылало.

– На колени, сударыня, я встала вовсе не для того, чтобы вы простили меня; по воле Всевышнего я не чувствую перед вами никакой вины. Я опустилась на колени, потому что вы знатная принцесса, а я всего лишь бедная девушка. Но теперь, отдав почести вашему высокому сану, я буду говорить с вами стоя: спрашивайте меня, ваше высочество, я готова отвечать.

Герцогиня никак не ожидала встретить такое спокойствие; она поняла, что внушить его могла лишь невинность и лишь бесстыдство могло помочь его разыграть. Она видела перед собой прекрасные синие глаза, такие добрые и такие ясные, что казалось, будто созданы они для того, чтобы через них проникать в самые глубины сердца, и сердце это, чувствовала герцогиня, чисто, как сердце младенца. Герцогиня Туренская была добра, первый приступ итальянской ревности, заставивший ее действовать и говорить, понемногу утих; она протянула Одетте руку и сказала ей ласково и нежно:

– Пойдемте.

Эта перемена в тоне и поведении герцогини произвела в душе девушки внезапный переворот. Одетта приготовила себя к тому, чтобы встретить гнев, но не снисхождение. Она взяла протянутую ей руку и прильнула к ней губами.

– О!.. – воскликнула она, рыдая. – Клянусь вам, тут нет моей вины. Он пришел к моему отцу как простой оруженосец герцога Туренского якобы для того, чтобы купить лошадей своему господину. Я увидела его, увидела!.. Он так прекрасен! Я глядела на него без опаски, потому что считала себе равней. Он приходил ко мне, беседовал со мною. Ни разу в жизни не слыхала я такого сладостного голоса, разве что когда была ребенком и во сне мне являлись ангелы. Я ничего не знала: не знала о том, что он женат, что он дворянин, герцог. Знай я, что это ваш супруг, сударыня, и что вы так красивы, так прекрасны, я бы сразу догадалась, что он надо мною смеется. Но теперь мне ясно все: он никогда не любил меня, и... и я его больше не люблю...

– Бедное дитя! – воскликнула Валентина, глядя на девушку. – Бедное дитя: она думает, что ее любили и бросили!..

– Я не сказала, что забуду его, – грустно промолвила Одетта. – Я сказала, что не буду больше его любить, потому что любить дозволено только того, кто тебе равен и чьей женою ты можешь стать. О, вчера, когда я увидела его во время этого великолепного шествия, в роскошном наряде!.. Когда в каждой его черте я узнавала оруженосца Луи, того, которого считала своим, когда я узнала в нем герцога Туренского, который принадлежит вам, сударыня!.. Клянусь, мне почудилось, будто это какое-то наваждение, я не верила своим глазам. Он о чем-то говорил, я затаила дыхание, я замерла, чтобы слышать его голос... Он беседовал с королевой. О королева!..

Одетта вздрогнула, и герцогиня вдруг побледнела.

– Вы не испытываете к ней неприязни? – спросила Одетта с выражением неизъяснимой скорби.

Герцогиня Валентина поспешно приложила свою руку ко рту девушки.

– Тише, тише, – остановила она ее. – Изабелла наша повелительница: она ниспослана нам Богом, и мы должны ее любить.

– То же самое сказал мне и мой отец, когда в тот день я, обессиленная, вернулась домой и призналась, что не люблю королеву, – вздохнула Одетта.

Герцогиня задержала на девушке взгляд, исполненный глубочайшей доброты и ласки. В это мгновение Одетта робко подняла глаза. Взгляды двух женщин встретились: герцогиня открыла ей свои объятия, но Одетта бросилась к ее ногам и стала целовать колени.

– Теперь мне больше нечего вам сказать, – ответила герцогиня Валентина. – Обещайте же впредь его не видеть, вот и все.

– К великому моему несчастью, сударыня, я не могу вам этого обещать, ведь герцог богат и могуществен: останусь ли я в Париже, уеду ли, он сумеет меня найти. Вот почему я не осмеливаюсь обещать вам больше его не видеть, но могу поклясться, что умру, если увижу его вновь,

– Вы ангел, – сказала герцогиня, – и если вы пообещаете молиться за меня Богу, я готова поверить, что счастье на этой земле для меня еще возможно.

– Молиться за вас Богу, сударыня! Да разве вы не из тех обласканных судьбою принцесс, которым покровительствуют добрые феи?! Вы молоды, красивы, могущественны, и вам дозволено его любить.

– Тогда молитесь Богу, чтобы он любил меня.

– Я постараюсь, – ответила Одетта.

Герцогиня взяла со стола маленький серебряный свисток и свистнула. На этот призыв тот же самый слуга, который доложил о приходе Одетты, открыл дверь.

– Отведите ее домой, – приказала герцогиня, – да смотрите, чтобы с ней ничего не случилось. Одетта, – ласково обратилась она к девушке, – если когда-нибудь вам понадобятся помощь, защита и покровительство, подумайте обо мне и приходите.

С этими словами она протянула ей руку, как сестре.

– Отныне, сударыня, в жизни мне нужно совсем немного, но поверьте, что вы мне не понадобятся и думать о вас будет ни к чему.

Одетта низко склонилась перед герцогиней и вышла.

Оставшись одна, герцогиня уселась в кресло и, опустив голову, глубоко задумалась. Она просидела несколько минут, погруженная в свои мысли, когда дверь в ее комнату тихо отворилась. Герцог вошел неслышно и, приблизившись к жене так, что она этого даже не заметила, оперся о спинку ее кресла; затем, видя, что она его не замечает, он снял с шеи великолепное жемчужное ожерелье, поиграл им над головой герцогини и бросил ей на плечо. Валентина вскрикнула и, подняв глаза, увидела мужа.

Она окинула его быстрым, проницательным взглядом. Но герцог ожидал этого и ответил ей спокойной улыбкой человека, который понятия не имеет о том, будто что-то произошло. Более того, когда герцогиня опустила голову, он нежно взял

ее за подбородок и, откинув назад ее голову, попытался заставить снова взглянуть на него.

– Чего вы от меня хотите, сударь? – спросила Валентина.

– Ну разве не позор для восточного монарха?! – воскликнул герцог, перебирая пальцами ожерелье, которое только что подарил своей супруге, и поднося жемчужины к ее губам. – Ожерелье это прислал мне венгерский король Сигизмунд Люксембургский, считая его чудом. Он думает, что сделал мне царский подарок, а у меня самого есть жемчужина, белее и драгоценнее этих.

Валентина глубоко вздохнула, но герцог, казалось, этого не заметил.

– Знаете ли вы, моя прекрасная герцогиня, что красавицы, подобной вам, я не встречал? На мою долю выпало счастье обладать несравненным сокровищем красоты! На днях мой дядя герцог Беррийский так расписывал мне глаза королевы, которые я, по правде сказать, и не приметил, что вчера, находясь от нее поблизости, я воспользовался случаем и внимательно их разглядел...

– Ну и что же? – поинтересовалась Валентина.

– А вот что: однажды – не припомню сейчас, где это было, – я видел пару глаз, которые вполне могли бы соперничать с ее глазами. Взгляните-ка на меня! Да-да, это было в Милане, во дворце герцога Галеаса. Глаза эти сверкали в обрамлении прекраснейших черных бровей, когда-либо изображенных кистью художника на челе итальянки. И принадлежали они некоей Валентине, ставшей супругой какого-то герцога Туренского, который, признаться, недостоин такого счастья.

– И вы думаете, он этим счастьем дорожит? – спросила Валентина, обратив к супругу взгляд, исполненный грусти и любви.

Герцог взял ее руку и прижал к сердцу. Валентина попыталась ее отнять; герцог задержал руку жены в своих руках и, сняв с пальца великолепный перстень, надел его ей на палец.

– Что это за перстень? – спросила Валентина.

– Он принадлежит вам по праву, моя дорогая, ибо достался мне благодаря вам. Сейчас все объясню.

Герцог уселся на низенький табурет у ног супруги, обоими локтями опершись на подлокотник ее кресла.

– Вот именно достался, – повторил он, – да к тому еще и за счет бедняги де Куси.

– Каким образом?

– Да будет вам известно – и советую вам помнить об этом, – что де Куси утверждал, будто видел руки по меньшей мере столь же красивые, как ваши.

– Где же это он их видел?..

– На улице Феронри, куда де Куси ходил покупать лошадь.

– И у кого именно?..

– У дочери торговца лошадьми. Я, разумеется, утверждал, что это невозможно; он же упорно настаивал. В конце концов мы поспорили: он на это кольцо, а я на жемчужное ожерелье.

Валентина смотрела на герцога, словно пыталась читать в его душе.

– И вот я переоделся простым оруженосцем, дабы собственными глазами взглянуть на сие чудо, и пошел к старику торговцу, где за бешеную цену купил двух никудышных коней, сесть на которых дворянина, отмеченного титулом герцога, можно заставить разве что в наказание. Но зато я увидел белорукую богиню, как сказал бы божественный Гомер. Признаться по совести, Куси не столь глуп, как я думал, и просто диву даешься, каким образом в этом жалком саду мог расцвести такой изумительный цветок. Однако же, моя дорогая, я не признал себя побежденным: как и подобает истинному рыцарю, я вступился за честь своей дамы. Куси продолжал упорствовать. Короче, мы уже пошли к королю просить его дозволить нам решить спор поединком, но в конце концов договорились обратиться к Пьеру де Краону, человеку в подобных делах весьма опытному. И вот дня три тому назад мы втроем направились к этой красотке, и,

поскольку Краон оказался великолепным арбитром, перстень красуется теперь на вашей руке... Что вы скажете об этой истории?

- Скажу, сударь, что я знала о ней, - ответила Валентина, все еще с сомнением глядя на герцога.

- О... каким же образом? Куси слишком галантен, чтобы сделать вам подобное признание.

- Стало быть, узнала не от него.

- От кого же? - спросил герцог тоном наигранного безразличия.

- От вашего арбитра.

- От мессира Пьера де Краона? Хм...

Герцог вдруг насупился и стиснул зубы, но лицо его тотчас же приняло прежнее беззаботное выражение.

- Да-да, понимаю, - продолжал он. - Пьер ведь знает, что я считаю его своим другом и во всем покровительствую ему. Вот он и захотел снискать также и ваши милости. Ну и прекрасно! Однако не находите ли вы, что время уже слишком позднее, чтобы болтать о всяких пустяках? Не забудьте, завтра король ждет нас к обеду, после застолья устраивается турнир, и мне предстоит острием шпаги доказать, что прекраснее вас нет никого на свете, а моим арбитром на сей раз будет уже не Пьер де Краон.

При этих словах герцог подошел к двери и запер ее изнутри, заложив в кольца деревянную щеколду, украшенную вышитыми по бархату цветами лилий. Валентина следила за ним взглядом. Когда же он снова вернулся к ней, она встала и, обвив руками шею супруга, сказала:

- О сударь, если вы меня обманываете, это будет на вашей совести.

Глава III

На другой день герцог Туренский встал рано и тотчас отправился во дворец, где застал короля в ожидании обеда. Карл, очень любивший герцога, встретил его приветливо и ласково. При этом он заметил, что герцог чем-то удручен. Это встревожило Карла, он протянул ему руку и, пристально глядя на него, спросил:

– Мой дорогой брат, скажите мне, чем вы расстроены? Вид у вас очень озабоченный.

– На то, ваше величество, есть причина, – отвечал герцог.

– Расскажите же, в чем дело, – продолжал король, взяв герцога под руку и отводя его к окну. – Мы желаем знать об этом, и если кто-либо нанес вам обиду, мы позаботимся о том, чтобы справедливость была восстановлена.

И герцог Туренский рассказал королю о той сцене, которая произошла накануне и которую мы постарались подробно описать читателю. Он рассказал, каким образом мессир Пьер де Краон обманул его доверие, выдав его тайну герцогине Валентине, да притом еще с самым недобрым умыслом. Убедившись, что король разделяет его неприязнь к де Краону, герцог добавил:

– Клянусь моей преданностью вам, ваше величество, если вы не воздадите ему за содеянное, я сегодня же в присутствии всего двора назову его лжецом и предателем, и он умрет от моей руки.

– Вы этого не сделаете, – отвечал король, – я сам прошу вас об этом. Но мы ему прикажем, и не позднее сегодняшнего вечера, чтобы он оставил наш двор, ибо впредь мы в его службе не нуждаемся. Тем паче что вы не первый на него жалуетесь, и если доселе я к этим жалобам не прислушивался, то только из уважения к вам и еще потому, что мессир де Краон был одним из самых близких к вам людей. Брат наш, герцог Анжуйский, король Неаполя, Сицилии и Иерусалима, где находится Гроб Господень, – при этих словах король осенил себя крестным знаменем, – брат наш весьма недоволен им за то, что он лишил его значительных сумм. К тому же он доводится кузеном герцогу Бретонскому, который вовсе не считается с нашими повелениями и ежедневно нам это доказывает хотя бы тем, что до сих пор не выполнил требования в отношении

доброе нашего коннетабля. Мне стало также известно, что этот несносный человек не желает признавать авиньонского Папу, который есть истинный Папа. Вопреки моему запрещению он продолжает чеканить золотую монету, хотя вассалам дозволено чеканить только медную. Кроме того, брат мой, – продолжал король, распаяясь все больше и больше, – мне известно, и из надежного источника, что его суды не признают юрисдикции парижского парламента и он дошел до того, что принимает от своих вассалов присягу на верность, абсолютно не считаясь с моими правами сюзерена, а это почти равносильно государственной измене. По всем этим причинам и по многим другим родственники и друзья герцога Бретонского не могут быть моими родственниками и друзьями. А вдобавок еще вы приносите жалобу на мессира Пьера де Краона, к коему я и сам начал терять доверие. Так что тут и говорить больше нечего: сегодня же объявите ему свою волю, а я прикажу объявить свою. Что же до герцога Бретонского, то это уже касается отношений между сюзереном и вассалом, и если король Ричард даст нам три года передышки, о чем мы его просили, хотя его поддерживает дядя наш герцог Бургундский, коему жена Ричарда доводится племянницей, мы еще поглядим, кто из нас двоих, он или я, является властителем во Французском королевстве.

Герцог поблагодарил короля, которому был глубоко признателен за участие, и уже собирался было удалиться. Но как раз в эту минуту колокол Сент-Шапель прозвонил к обедне, и Карл пригласил герцога остаться, тем более что служить на этот раз должен был архиепископ Руанский, мессир Гийом Венский и на богослужении должна была присутствовать королева.

По окончании службы король, королева Изабелла и герцог Туренский направились в пиршественный зал, где их уже ожидали сеньоры и дамы, по праву своего высокого титула и звания или по желанию королевской четы приглашенные к обеду. Угощения были расставлены на огромном мраморном столе. Возле одной из колонн, на возвышении, стоял отдельный стол, роскошно сервированный золотой и серебряной посудой и предназначенный специально для короля и королевы. Стол этот со всех сторон был огорожен барьером, который охраняли стражники и жезлоносцы, впускавшие за ограду только тех, кому надлежало ухаживать за гостями. И несмотря на все эти меры, прислуга едва могла исполнять свои обязанности, столько людей собралось в зале. После того как король, прелаты и дамы ополоснули руки в серебряных сосудах, которые с низким поклоном поднесли им слуги, первым свое место за королевским столом занял главный его распорядитель, епископ Нуайонский, затем епископ Лангрский, архиепископ Руанский и, наконец, сам король. На короле была алая бархатная мантия, подбитая горностаем, а голову его

украшала французская корона. Подле него села королева Изабелла, также в золотом венце, справа от нее занял место царь армянский, за ним, по порядку, герцогиня Беррийская, герцогиня Бургундская, герцогиня Туренская, мадемуазель[6 - Мадемуазель называли женщину, чей муж еще не был посвящен в рыцари.] де Невер, мадемуазель Бонн де Бар, госпожа де Куси, мадемуазель Мари д'Аркур и, наконец, госпожа де Сюлли, супруга мессира Ги де ла Тремуя.

Кроме указанных столов в зале помещались еще два других, за коими уселись герцоги Туренский, Бурбонский, Бургундский и Беррийский и еще пятьсот сеньоров и дам. Но теснота была такая, что им с трудом подносили кушанья. «Что до кушаний, обильных и весьма изысканных, – говорит Фруассар, – то их я только перечислю, а расскажу подробнее об интермедиях, которые были разыграны как нельзя лучше».

Подобные увеселения, обычно делившие трапезу на две части, в ту пору были в большой моде. Откушав первое блюдо, гости поднялись из-за стола и направились занимать себе места поудобнее где-нибудь у окна, на скамейке или даже на одном из столов, расставленных для этой цели вокруг зала; но гостей собралось такое множество, что даже балкон, с местами для короля и королевы, и тот был заполнен до отказа.

Плотники, трудившиеся более двух месяцев, возвели посреди дворцового двора деревянный замок высотой в сорок футов и в шестьдесят футов длиной, считая флигеля. По углам замка стояли четыре башни, а в середине возвышалась пятая, самая высокая. Этот замок изображал знаменитую крепость Трои, а самая высокая башня – троянский дворец. На штандартах, окружавших стены, были нарисованы гербы царя Приама, его доблестного сына Гектора, а также царей и царевичей, вместе с ними запершихся в крепости. Все сооружение было поставлено на колеса, так что люди, находившиеся внутри, могли поворачивать его в любую сторону, в зависимости от нужд защиты. Очень скоро им представилась возможность доказать свою сноровку, ибо почти тотчас на штурм Трои с двух сторон одновременно устремились шатер и корабль: шатер изображал греческую армию, а корабль – греческий флот; оба они двигались под знаменами храбрейших воинов, сопровождавших царя Агамемнона, – от быстрого Ахилла до хитроумного Одиссея. В шатре и на корабле было не менее двухсот человек, а из ворот королевской конюшни уже выглядывала голова деревянного коня, спокойно ожидавшего, когда настанет его время появиться на сцене. Однако, к великому разочарованию зрителей, дело до этого не дошло: в тот момент, когда греки под предводительством Ахилла храбро

осадили троянцев, доблестно оборонявшихся во главе с Гектором, послышался треск, а затем поднялся невероятный шум: оказывается, помост, устроенный у дверей парламента, внезапно рухнул и увлек за собою всех, кто на нем находился.

Как бывает обычно в подобных обстоятельствах, каждый боялся, что печальная участь постигнет и его, и кричал так, словно это уже случилось; в толпе произошло сильное замешательство, потому что все пытались сойти с помоста одновременно; люди устремились к ступенькам, и те, не выдержав тяжести, начали трещать. Хотя королеве и дамам, находившимся на каменных балконах дворца, ничего не угрожало, их тоже обуял панический страх; и тогда, по причине ли этого безрассудного страха или же для того, чтобы не видеть ужасающей сцены, происходившей перед их глазами, они бросились было назад, в пиршественную залу, но позади плотной стеной стояли оруженосцы – пажы и слуги, а еще дальше сгрудился народ, который, пользуясь тем, что стражники и жезлоносцы кинулись к окнам, устремился в помещение, так что королева Изабелла не могла пробиться сквозь толпу и, потеряв сознание, полумертвая упала в объятия герцога Туренского, стоявшего рядом с нею. Тогда король распорядился прекратить представление. Столы, на которые уже подали второе блюдо, были убраны, барьеры вокруг столов были сняты, так что в зале стало много свободнее. К счастью, все обошлось в общем благополучно, разве что немного помяли госпожу де Куси и королеве сделалось дурно. Ее отнесли поближе к окну, выбив из него стекло, чтобы побыстрее дать ей свежего воздуха, после чего она вскоре пришла в чувство. Но ею овладел такой страх, что она пожелала тотчас удалиться. Что до зрителей, находившихся во дворе, то кое-кто из них лишился жизни и многие получили более или менее серьезные увечья.

В конце концов королева села в свои носилки и в сопровождении свиты более чем из тысячи кавалеров и дам направилась во дворец Сен-Поль; что же касается короля, то он спустился на лодке до моста Менял и вместе с кавалерами, пожелавшими принять участие в турнире, который ему предстояло возглавить, поплыл вверх по Сене.

По прибытии во дворец король получил роскошное подношение парижских граждан, которое от их имени вручила ему депутация из сорока знатнейших жителей города. Все они, словно в мундиры, были одеты в одинакового цвета суконное платье. Доставленный ими подарок лежал на носилках под прозрачным шелковым покрывалом, сквозь которое виднелись драгоценные

предметы, составляющие подношение, – четыре кувшина, четыре таза и шесть блюд, все это из чистого золота весом в пятьдесят марок.

Когда появился король, носильщики в одежде дикарей поставили носилки посреди комнаты, и один из граждан, составлявших депутацию, опустился перед королем на колени и сказал:

– Любезнейший государь и благородный король, по случаю вашего счастливого восшествия на престол преданные короне парижские граждане преподносят вам все эти драгоценности. Подобные же дары они преподносят королеве Изабелле и герцогине Туренской.

– Спасибо вам! – отвечивал король. – Подарки эти поистине прекрасны, и мы всегда будем помнить тех, кто их преподнес.

В самом деле, такие же носилки нашли у себя королева Изабелла и герцогиня Туренская. Подношение для королевы принесли во дворец два человека, переодетые один – медведем, а другой – единорогом; оно состояло из сосуда для воды, двух флаконов, двух кубков, двух солонок, полдюжины кувшинов и полдюжины тазов, все это из золота самой высокой пробы, дюжины подсвечников, двух дюжин тарелок, полдюжины больших блюд и двух серебряных чаш – все вместе весом триста марок.

Носильщики, доставившие подарки герцогине Туренской, были одеты маврами, в богатых шелковых одеждах, с черными лицами и белыми тюрбанами на головах, как у сарацинов или татар. В носилках находились ваза, большой кувшин, две шкатулки, два больших блюда, две золотые солонки, полдюжины серебряных кувшинов, полдюжины блюд, по две дюжины тарелок, солонки и чашек, всего предметов из золота и серебра весом двести марок. А общая стоимость сделанных подарков, свидетельствует Фруассар, составила более шестидесяти тысяч золотых крон.

Поднося королеве сии великолепные дары, парижские граждане надеялись снискать ее благорасположение и склонить к тому, чтобы рожала она в Париже, ибо тогда поборы с них были бы уменьшены. Но получилось совсем не так: когда подошло время родов, король увез Изабеллу из Парижа, пошлины повысили да еще отменили серебряную монету достоинством в двенадцать и четыре денье, имевшую хождение еще со времен Карла V; поскольку эту монету, монету

простолюдинов и нищих, перестали принимать, многие лишились даже самого необходимого[7 - Свидетельство Фруассара и монаха из монастыря Сен-Дени.].

Между тем королева и герцогиня Валентина очень радовались полученным подаркам и любезно поблагодарили тех, кто им эти подарки доставил. Затем они стали собираться на поле Святой Екатерины, где уже было приготовлено ристалище для рыцарских состязаний и устроены помосты для зрителей.

Из тридцати рыцарей, участвовавших в этот день в состязаниях[8 - Это были король, герцоги Беррийский, Бургундский и Бурбонский, граф де ла Марш, мессир Жакмар де Бурбон, его брат мессир Гийом де Намюр, мессир Оливье де Клиссон, Жак Венский, Жакмен Венский, его брат, мессир Ги де ла Тремуи, мессир Гийом, его брат мессир Филипп де Бар, сеньор де Рошфор, сеньор де Рэ, сир де Бомануар, мессир Жан де Барбансон, герцог Фландрский, сеньор де Куси, мессир Жан де Баррес, сеньоры де Нантуйе, де ла Рошфуко, де Гарансьер, мессир Жан де Арпедан, барон де Сен-Вери, мессир Пьер де Краон, Реньо де Руа, Жоффруа де Шорни и Гийом де Линьяк.] и названных «рыцарями золотого солнца», потому что на их щитах было изображено лучезарное светило, двадцать девять уже ожидали в полном вооружении на поле. Явился тридцатый, и все опустили копья, приветствуя его; это был сам король.

Почти одновременно общий шум возвестил и появление королевы. Она заняла место на приготовленном для нее возвышении; справа от нее села герцогиня Туренская, слева – мадемуазель де Невер.

Позади двух этих дам стояли герцог Людовик и герцог Жан, изредка обмениваясь между собою короткими репликами с той холодной учтивостью, которая свойственна людям, чье положение заставляет их скрывать свои мысли. Как только королева села, все прочие дамы, только и ожидавшие этой минуты, словно растеклись по тому пространству, которое для них было отведено и которое тотчас запестрело золотыми и серебряными тканями и засверкало алмазами и другими драгоценными камнями.

В это время рыцари, участвовавшие в состязании, выстроились один за другим с королем во главе. За королем следовали герцоги Беррийский, Бургундский, Бурбонский, потом остальные двадцать шесть бойцов, в порядке титула и достоинства каждого. Проходя перед королевой, все они склоняли до земли острие своего копья, и королева поклонилась столько раз, сколько было рыцарей.

По окончании парада участники турнира разделились на две группы. Король принял на себя командование одной из них, коннетабль – другой. Карл повел свой отряд к балкону, где находилась королева, Клиссон – в противоположную сторону.

– Ваше высочество, – обратился в эту минуту герцог Неверский к герцогу Туренскому, – неужели вы не испытываете желания присоединиться к этим благородным рыцарям, дабы своим копьем воздать честь герцогине Валентине?

– Брат мой король, – сухо ответил герцог, – позволил мне одному участвовать в завтрашнем состязании: я намерен один против всех защищать красоту моей дамы и честь моего имени.

– Вы могли бы добавить еще, ваше высочество, что употребите для этого иное оружие, а не те детские игрушки, коими пользуются в подобных забавах.

– Я готов, – продолжал герцог Туренский, – защищать их таким же оружием, каким на них будут нападать. У входа в мою палатку я повешу щит мира и щит войны: тот, кто нанесет удар по щиту мира, окажет мне честь; тот, кто ударит по щиту войны, доставит мне удовольствие.

Герцог Неверский сделал поклон: узнав все, что ему хотелось узнать, он не желал более продолжать разговор. Что до герцога Туренского, то он, казалось, не понял цели этих вопросов и стал беззаботно играть кружевной лентой, спадавшей с головного убора королевы.

Но вот протрубили фанфары; услышав сигнал, возвещавший начало схватки, рыцари пристегнули свои щиты, надежно уселись в седлах, направили как следует свои копья, так что, когда последний звук трубы смолк, все уже приготовились и ждали только приказания арбитров, чья команда: «Вперед, марш!» – раздалась одновременно с обеих сторон ристалища.

Едва эти слова были произнесены, как земля мгновенно исчезла из виду, скрытая клубами пыли, так что следить за сражающимися стало невозможно. Слышен был только шум от столкновения противоборствующих отрядов. Ристалище уподобилось разбушевавшемуся морю, которое вздымает волны золота и стали. Время от времени, словно пена на гребне волны, над ним

мелькал белоснежный панаш. Однако подробностей этой первой схватки так никто и не видел, и лишь когда фанфары подали знак к перерыву и оба отряда разошлись по своим местам, стало возможным определить, на чьей же стороне перевес... Возле короля осталось еще восемь вооруженных рыцарей на лошадях: это были герцог Бургундский, барон д'Иври, мессире Гийом де Намюр, Ги де ла Тремуай, Жан де Арпедан, Реньо де Руа, Филипп де Бар и Пьер де Краон.

Король решил было запретить этому последнему участвовать в рыцарском состязании, поскольку де Краон возбудил против себя всеобщий гнев, но потом подумал, что его отстранение расстроит турнир, для которого требовалось четное число участников в состязающихся партиях.

Коннетабль сопровождало всего шесть человек: герцог Беррийский, кавалер де Бомануар, мессире Жан де Барбансон, Жоффруа де Шорни, Жан Венский и сир де Куси. Остальные были либо сбиты на землю и не имели права снова садиться в седло, либо коснулись барьера, отступая под натиском противника, и потому считались побежденными. Таким образом, честь победы в первой схватке принадлежала королю, при котором осталось большее число рыцарей.

Пажи и слуги воспользовались перерывом, чтобы полить ристалище водою и прибить пыль. Дамы были очень этим обрадованы, а рыцари, уверенные, что теперь все увидят их доблесть и наградят ее рукоплесканиями, воодушевились еще более. Каждый подзвал своего пажа или оруженосца, велел осмотреть на себе доспехи, подтянуть подпруги у лошади, надежнее пристегнуть щит и приготовился к новой схватке.

Сигнал не заставил себя долго ждать: фанфары протрубили во второй раз, взметнулись и застыли копыя, и по команде «Вперед, марш!» обе группы, уже уменьшившиеся более чем наполовину, устремились друг на друга.

Все взгляды обратились к королю и мессире Оливье де Клиссону, ринувшимся один на другого. Они встретились на середине ристалища. Король нанес такой сильный удар по щиту противника, что копьё его переломилось, однако, несмотря на это, старый воин остался твердо сидеть в седле, только лошадь его чуть осела на задние ноги, но едва всадник пришпорил ее, она тотчас поднялась. Что касается коннетабля, то он нацелил свое копьё, словно угрожая королю, но, приблизившись к нему, поднял оружие острием вверх, давая тем самым понять, что считает за честь состязаться со своим государем, однако же слишком высоко его чтит, чтобы нанести ему удар даже в игре.

– Послушайте, Клиссон, – смеясь, сказал король, – если шпагой коннетабля вы владеете не более искусно, чем рыцарским копьем, я отниму у вас эту шпагу и оставлю вам одни ножны. Впредь советую являться на состязания с хлыстом вместо оружия: он сослужит вам ту же службу, что и копье, если вы намерены всегда использовать его подобным же образом.

– Государь, – отвечал Клиссон, – и с хлыстом в руках я пошел бы на врагов вашего величества и, надеюсь, с помощью Божьей одержал бы над ними победу. Ибо любовь и почтение, которые я к вам питаю, придали бы мне мужества защищать вас точно так же, как они не позволили мне нанести вам удар. А что касается того, как я намерен действовать своим копьем против всякого другого, кроме вас, то, если вам угодно самому судить об этом, глядите, ваше величество, и глядите сейчас же.

Действительно, в эту минуту Гийом де Намюр, выбив из седла Жоффруа де Шорни, скакал по ристалищу и взглядом искал, с кем бы еще ему помериться силами; однако все были заняты, и хоть он имел право прийти на помощь тем из своего отряда, кто в ней нуждался, Гийом де Намюр не допустил такого неравенства. Но тут он услышал голос коннетабля.

– Предлагаю сразиться со мною, если вам это угодно, мессир де Намюр! – кричал Оливье де Клиссон.

Знаком дав понять, что принимает вызов, Гийом де Намюр утвердился на стременах, приготовил копье к бою, подобрал поводья и устремился на Клиссона, который пустил лошадь галопом, чтобы противнику пришлось скакать не более половины расстояния. И они встретились.

Мессир Гийом направил острие своего копья прямо в шлем Клиссона, причем настолько точно, что попал в цель и шлем свалился с головы коннетабля. В ту же минуту мессир де Клиссон копьем нанес удар в щит своего противника. Гийом де Намюр был отличным всадником и остался в седле, но сила удара оказалась столь велика, что у лошади его лопнула подпруга и он вместе с седлом откатился шагов на десять. Со всех сторон раздались рукоплескания, дамы махали платками. Удар мессира Оливье и впрямь был отличным.

Клиссон даже не успел потребовать другой каски: он видел, что небольшой его отряд, не сумевший вернуть себе преимущество, сильно теснят противники, и с

обнаженной головой бросился в середину схватки. Он сломал свое уже видавшее виды копье о каску мессира Жана де Арпедана, одним ударом сбил с него шлем и, обнажив шпагу, стал так сильно атаковать, что Жан де Арпедан и опомниться не успел, как уже коснулся барьера. Тогда только коннетабль окинул взглядом поле сражения. Всего два всадника еще вели бой друг с другом: это были мессир де Краон и сеньор де Бомануар. Что до короля, то он был теперь лишь зрителем и после схватки с Клиссоном участия в битве не принимал. Коннетабль последовал этому примеру и ожидал исхода сражения между последним своим рыцарем и своим последним противником. Складывалось впечатление, что перевес на стороне сеньора де Бомануара, но внезапно шпага его сломалась на щите Пьера де Краона. Так как сражаться разрешалось лишь копьем и шпагой, а сеньор де Бомануар этого оружия уже лишился, он, к своему великому отчаянию, принужден был сделать знак рукою и признать себя побежденным. Пьер де Краон, полагая, что на поле битвы он остался один, обернулся назад и в десяти шагах от себя внезапно увидел Клиссона, давнего своего врага, который, смеясь, смотрел на него: кто станет победителем этого дня, должен был решить поединок между ними.

Лицо Пьера де Краона, скрытое шлемом, побагровело. Хоть он и был опытным рыцарем, искушенным во всех тонкостях боевого ремесла, он хорошо знал, с каким упорным противником ему предстояло сразиться. Однако он ни минуты не колебался. Опустив поводья на шею лошади, он почти опрокинулся ей на спину, взял шпагу в обе руки и ринулся на коннетабля. Подскакав к нему, он дважды описал своей сверкающей шпагой круг в воздухе и с грохотом, подобным грохоту молота, бьющего о наковальню, обрушил ее на щит, которым Клиссон прикрывал свою обнаженную голову. Разумеется, если бы шпага его была наточена, щит Клиссона, хоть он и был сделан из прочнейшей стали, оказался бы слабой защитой от подобного удара. Но противники сражались тупым оружием, и коннетабль лишь покачнулся, и то не более чем если бы его хлестнула ивовым прутом детская ручонка.

Старый воин повернулся к Пьеру де Краону, который ускакал уже довольно далеко вперед, но успел подготовиться и ожидал противника. На этот раз атаковал коннетабль, а Краон защищался. Атака была несложной: шпагой мессир Оливье отстранил шпагу противника, затем взял свое оружие в обе руки и, словно забыв о том, что это шпага, нанес ее рукоятью столь могучий удар по шлему де Краона, что шлем прогнулся, как от удара булавой. Мессир де Краон упал в беспамятстве, не произнеся ни слова.

Тогда коннетабль, подъехав к королю, спрыгнул с лошади и, взяв свою шпагу за острие, протянул ее государю, как бы объявляя тем самым, что признает свое поражение и уступает ему лавры победителя этого дня. Понимая, что поступок коннетабля – простая учтивость, король тоже сошел с лошади, обнял Клиссона и под рукоплескания кавалеров и дам подвел к балкону, где его долго поздравляли и сама королева, и герцог Туренский, не без удовольствия наблюдавший за неудачей Пьера де Краона, и герцог Неверский, который хотя и не был расположен к коннетаблю, но, сам хороший боец, не мог не восхищаться боевым искусством другого.

В это время у входа в церковь Святой Екатерины остановилась группа всадников. Человек, по-видимому возглавлявший группу, сошел с лошади и зашагал в сторону ристалища, куда он явился, весь покрытый пылью. Направившись прямо к королю, он преклонил перед ним одно колено и подал письмо, скрепленное печатью с гербом английского короля. Карл распечатал письмо: Ричард уведомлял о трехлетнем перемирии, которое он и дяди его соглашались предоставить Франции как на суше, так и на море; перемирие должно было продолжаться с 1 августа 1389 года до 19 августа 1392 года. Карл сразу же огласил письмо, и столь долгожданное известие, да еще полученное в такое время, казалось, тоже сулило благоденствие царствованию, начинавшемуся при столь добрых предзнаменованиях. Вот почему принесший благую весть сеньор де Шатоморан был так обласкан двором. Желая оказать ему честь и выразить свое удовольствие, король пригласил его отобедать вместе с ним и, даже не дав переменить платья, повел прямо к себе.

Вечером того же дня сеньор де ла Ривьер и мессир Жан Лемерсье, со стороны короля, а также мессир Жан де Бейль и сенешаль Турени, со стороны герцога Туренского, явились в дом мессира Пьера де Краона, неподалеку от кладбища Сен-Жан, и от имени короля и герцога объявили ему, что ни тот ни другой в службе его надобности более не имеют. Не успев еще оправиться после полученного удара и падения с лошади, мессир Пьер де Краон на следующую же ночь выехал из Парижа в Анжу, где он владел большим укрепленным замком под названием Сабле.

На другой день, едва рассвело, герольды в ливреях герцога Туренского уже разъезжали по парижским улицам с трубачами впереди и на всех перекрестках и площадях оглашали уведомление о вызове, которое за месяц до того было разослано во все части королевства, равно как и в главнейшие города Англии, Италии и Германии. В уведомлении этом говорилось:

«Мы, Людовик Валуа, герцог Туренский, милостью Божьей сын и брат королей Франции, желая встретиться и свести знакомство с благороднейшими людьми, рыцарями или оруженосцами как Французского королевства, так и других королевств, извещаем – не из гордости, ненависти или недоброжелательства, но единственно ради удовольствия насладиться приятным обществом и с согласия короля, нашего брата, – что завтра с десяти часов утра и до трех часов пополудни мы готовы будем выйти на поединок с каждым, кто этого пожелает. При входе в наш шатер рядом с ристалищем будут выставлены щит войны и щит мира, украшенные нашими гербами, так что всякий, кто пожелает с нами состязаться, да соблаговолит послать своего оруженосца или явиться сам и прикоснуться древком своего копья к щиту мира, если желает участвовать в мирном поединке, или острием копья к щиту войны, если хочет участвовать в поединке военном. Дабы все дворяне, благородные рыцари и оруженосцы могли считать это извещение твердым и неизменным, мы распорядились огласить его и скрепили печатями с нашими гербами.

Составлено в Париже, в нашем дворце, 20 июня 1389 года».

Известие о поединке, в котором должен был участвовать первый принц крови, наделало в Париже много шума. Когда герцог Туренский явился к своему брату просить позволения по случаю прибытия королевы Изабеллы устроить турнир, члены королевского совета попытались воспротивиться. Король, сам любивший турниры и великолепно владевший оружием, пригласил к себе герцога и просил его отказаться от своего намерения, но герцог ответил, что сам вызвался на это в присутствии придворных дам, и король, знавший цену таким словам, дал свое согласие.

Впрочем, участники подобных рыцарских забав подвергали себя не слишком большому риску: противники вели бой тупым оружием, и щит войны, помещаемый перед шатром устроителя рядом со щитом мира, лишь указывал, что его владелец готов принять любой вызов. Однако же иногда бывало и так, что кто-либо, движимый личной ненавистью, нет-нет да и воспользуется возможностью, под личиной дружбы проникнет на ристалище и внезапно,

отбросив притворство, предложит настоящее, а не шуточное сражение. На этот случай в шатре всегда имелись наготове отточенное оружие и снаряженная для боя лошадь.

Хотя герцогиня Валентина разделяла рыцарские увлечения своего времени, она сильно тревожилась за исход предстоящего поединка. Требование королевского совета казалось ей вполне справедливым: по внушению своего сердца она опасалась того же, чего другие опасались по внушению разума. И вот когда герцогиня сидела одна, погруженная в эти думы, ей доложили, что та самая девушка, за которой она третьего дня посылала, ожидает в прихожей и просит герцогиню ее принять. Валентина сделала несколько шагов к двери. Одетта вошла.

На всем облике этого кроткого, непорочного существа, столь же прекрасном и грациозном, лежала на сей раз печать глубочайшей грусти.

– Что с вами? – обратилась к ней герцогиня, испуганная бледностью молодой девушки. – Чем обязана я счастью вас видеть?

– Вы были слишком добры ко мне, – отвечала Одетта, – и я не хотела, чтобы монастырские стены разлучили меня с миром, прежде чем я прощусь с вами.

– Как, бедное дитя?! – воскликнула герцогиня с нежностью. – Неужто вы идете в монахини?

– Еще нет, сударыня. Отец взял с меня слово, пока он жив, не принимать обета. Но я так плакала на его груди, так его молила, что он разрешил мне поселиться при монастыре Святой Троицы, где настоятельницей является моя тетка. И вот я уезжаю...

Герцогиня взяла ее за руку.

– А ведь это не все, что вы хотели мне поведать, не правда ли? – сказала она, видя в глазах девушки выражение глубокой печали и страха.

– Еще я хотела поговорить с вами о...

– О ком?

– Да о ком же мне с вами говорить, как не о нем? За кого, скажите, тревожиться, как не за него?

– Чего же вы боитесь?

– Вы мне простите, герцогиня, что я говорю с вами о герцоге Туренском... Однако же если какая-нибудь опасность...

– Опасность?.. – перебила ее Валентина. – Что вы хотите сказать? Не мучьте меня!

– Сегодня герцог участвует в поединке...

– Ну и что же?..

– Вчера приходили к моему отцу – а ведь вы знаете, мой отец известен тем, что держит лучших лошадей, каких только можно найти во всем Париже, – так вот, вчера пришли к нему люди и попросили показать самую сильную и выносливую боевую лошадь, которую он может продать. Отец спросил, не для завтрашнего ли поединка она нужна, и эти люди ответили, что да, мол, для завтрашнего, что один иностранный рыцарь желает в нем участвовать. «Стало быть, состязание будет настоящим?» – спросил отец. «Разумеется, – ответили они, смеясь, – и жестоким». Затрепетав от страха при этих словах, я пошла за ними, спустилась по лестнице. Они выбрали в конюшне самую сильную лошадь, примерили ей боевой наголовник... Вы понимаете, сударыня?.. – продолжала Одетта, рыдая. – Предупредите, ради бога, герцога, скажите, что против него что-то замышляют, ему грозит опасность... Пусть защищается изо всех сил, со всею ловкостью... – Она упала на колени. – Пусть защищается ради вас, ведь вы так прекрасны и так его любите! О, скажите ему об этом так же, как я вам говорю, скажите на коленях, молитвенно скрестив руки, как я бы сама ему сказала, будь я на вашем месте!..

– Спасибо, дитя мое, спасибо...

– Вы предупредите его оруженосцев, ведь правда же? Пусть выберут ему самое надежное оружие. Когда он ездил за вами в Милан, он, должно быть, привез себе оттуда? Там, говорят, делают оружие самое лучшее на свете. Пусть проверит, чтобы как следуют прикрепили шлем... Потом, если вы заметите... Впрочем, это невозможно, потому что герцог Туренский – самый красивый, самый отважный и самый искусный рыцарь во всем королевстве... Ах, что же я говорю?.. Да-да, если вы заметите, что его покидают силы, ибо противник может пуститься и на коварство, попросите короля, ведь он непременно будет присутствовать, попросите его прекратить поединок. Он имеет на это право, я спрашивала у отца... Достаточно арбитрам бросить между сражающимися жезл, и бой должен кончиться. Скажите же ему, чтобы остановил это злосчастное сражение, никто другой этого сделать не может... А я в это время...

Одетта умолкла.

– Что вы будете делать? – уже хладнокровнее спросила герцогиня.

– Я запрусь в монастырской церкви. Теперь, когда моя жизнь принадлежит одному Богу, я должна молиться за всех, и прежде всего за моего государя, его братьев и сыновей. Я буду истово за него молиться. Буду просить Бога, чтобы Он взял мою жизнь, к чему мне она?.. Взял ее взамен его жизни. И Бог услышит меня. Быть может, Он сжалится надо мною... И вы тоже молитесь. Ваш голос Господь, безусловно, услышит скорее, чем мой. Потому что вы – герцогиня, а я всего лишь бедная девушка. Прощайте же, сударыня, прощайте...

С этими словами Одетта встала, последний раз поцеловала руку герцогини и бросилась прочь из комнаты.

Герцогиня Туренская тотчас кинулась на половину своего супруга, но уже более часа он находился у себя в шатре, куда направился для того, чтобы приготовить лучшие доспехи.

В это самое время герцогине доложили о том, что королева ждет ее и желает вместе с нею ехать на поле Святой Екатерины.

Поединок был назначен на том же месте, что и накануне, только внутри ограды под королевским балконом был раскинут шатер герцога Туренского, над которым развевался штандарт с гербом. Шатер сообщался с бревенчатым

помещением для оруженосцев и лошадей. Всего лошадей было четыре: три предназначались для мирного поединка, четвертая – для военного. На левой стороне шатра висел боевой щит герцога без герба; в качестве эмблемы на нем была изображена суковатая дубинка с надписью: «Бросаю вызов». С правой стороны шатра находился щит мира с изображением в его середине герба королей Франции – трех золотых лилий на лазурном поле. Напротив, в самом конце ристалища, виднелись ворота с башенками по бокам, служившие для въезда рыцарей.

Как только король с королевой, придворные дамы и кавалеры заняли свои места, выехал герольд в сопровождении двух трубачей и огласил уведомление о вызове, с которым мы уже ознакомили читателя. При этом арбитры поединка добавили одно условие, касающееся способа ведения боя: любой рыцарь или оруженосец, который коснется щита мира, имел право лишь на две схватки, а тот, кто коснется боевого щита, по обычаю, мог выбрать себе оружие.

Огласив объявление, герольд вернулся в шатер. Арбитры, мессир Оливье де Клиссон и герцог Бурбонский, заняли места по обе стороны ристалища, и трубы возвестили начало поединка. Герцогиня Валентина была бледна как смерть.

После недолгого молчания другая труба где-то в стороне, как бы в ответ, протрубила точно такой же сигнал. Тут ворота ристалища распахнулись, и появился рыцарь с поднятым забралом. Все узнали в нем мессира Бусико-младшего. Галереи встретили его шумом одобрения, мужчины приветственно замахали руками, дамы подняли в воздух свои платки, ибо это был один из отважнейших и самых искусных бойцов своего времени. Герцогиня Валентина ободрилась.

Мессир Бусико поклоном поблагодарил собравшихся за оказанный ему прием, потом направился прямо к балкону королевы и изящнейшим жестом приветствовал ее, острием копья коснувшись самой земли. Затем он левой рукой опустил забрало своего шлема, слегка ударил древком копья по мирному щиту герцога Туренского и, пустив лошадь галопом, оказался в противоположной стороне ристалища.

В эту минуту на поле боя в полном снаряжении выехал герцог Туренский: щит его был прикреплен к шее, копье нацелено для удара. Миланское оружие герцога из превосходнейшей стали сверкало позолотой; попона на его лошади была из червленого бархата, удила и стремяна, обычно изготавливаемые из

железа, были сделаны из чистого серебра; кираса так послушно подчинялась всем его движениям, словно это была кольчуга или суконный камзол.

Если мессир Бусико был встречен шумом одобрения, то герцога наградили бурными рукоплесканиями, ибо представиться зрителям и приветствовать их более изящно, чем это сделал он, было просто невозможно. Рукоплескания стихли лишь после того, как герцог опустил забрало. Тогда раздались звуки труб, соперники приготовились, и арбитры скомандовали: «Вперед, марш!»

Оба рыцаря, пришпорив коней, во весь опор ринулись в бой; каждый нанес другому удар прямо в щит и сломал свое копье; обе лошади вдруг остановились, присели на задние ноги, но тотчас поднялись, дрожа всем телом, однако при этом ни один из противников даже не потерял стремени: они повернули лошадей и поскакали каждый на свое место, чтобы взять из рук оруженосца новое копье.

Едва они приготовились для второй схватки, трубы протрубили снова, и противники бросились в бой, пожалуй, еще стремительнее, нежели в первый раз, однако оба изменили направление своих копий, так что каждый ударил соперника в забрало, сбив с него шлем. Проскочив друг мимо друга, они тут же вернулись назад и раскланялись между собой. Равенство сил было неоспоримым, и все сочли, что эта схватка принесла честь каждому участнику в равной мере. Оба они оставили свои шлемы на поле боя, поручив их заботам своих оруженосцев, и ушли с обнаженной головой. Мессир Бусико направился к воротам, через которые въехал на ристалище, а герцог Туренский – к своему шатру.

Шепот восхищения сопровождал герцога. Красив он был необыкновенно: длинные белокурые волосы, кроткие голубые глаза младенца, цвет лица, как у молодой девушки, – всем своим обликом он напоминал архангела Михаила. Королева вытянула шею и низко-низко наклонилась, чтобы как можно дольше его видеть; герцогиня Валентина, вспомнив, что говорила ей Одетта, с недобрый предчувствием взглянула на Изабеллу.

Вскоре трубы возвестили, что герцог готов к новому поединку; однако в течение нескольких минут его вызов оставался без ответа, и многим уже казалось, что столь прекрасный турнир на этом и кончится, как вдруг другая труба пропела какую-то незнакомую мелодию. В то же самое время ворота открылись, и на ристалище въехал рыцарь с опущенным забралом и со щитом на груди.

Герцогиня Валентина вздрогнула: этот новый соперник был ей неизвестен, и военный поединок, которого она так страшилась, вселял в ее душу смутную, но неистребимую тревогу, которая росла по мере того, как незнакомец приближался к шатру герцога. Подъехав к королевскому балкону, он остановил лошадь, упер свое копье древком в землю, прижал его коленом и, опустив пружину шлема, снял его с головы. Тут все увидели красивого молодого человека лет двадцати четырех, бледное и гордое лицо которого большинству присутствующих было незнакомо.

– Привет нашему любезнейшему кузену Ланкастеру, графу Дерби, – поздоровался с ним король, узнавший двоюродного брата английского короля Ричарда. – Граф знает, что и без перемирия, которое наш заморский брат Ричард – да хранит его Господь! – нам предоставил, он был бы желанным гостем при нашем дворе. Посланник наш мессир де Шатоморан уведомил нас вчера о его прибытии, а он добрый вестник.

– Ваше величество, – обратился граф Дерби к королю, учтиво ему поклонившись, – до нашего острова дошла молва о необыкновенных поединках, которые будут происходить при вашем дворе, и мне, англичанину душою и телом, захотелось пересечь море, чтобы сломать свое копье в честь французских женщин. Надеюсь, герцог Туренский соблаговолит забыть о том, что я всего только двоюродный брат короля...

Последние слова граф Дерби произнес с насмешливой горечью, доказывающей, что уже в то время он помышлял о том, как преодолеть препятствия, отделявшие его от трона.

Поприветствовав еще раз короля и королеву, граф надел свой шлем и направился к мирному щиту герцога Туренского, дабы ударить по нему древком своего копья. На побледневших от страха щеках герцогини Валентины вновь запылал румянец, ибо до этой минуты она трепетала при мысли, что на турнир графа Дерби привела исконная ненависть, которую англичане питали к французам.

Прежде чем начать поединок, противники раскланялись между собой с той изысканнейшей учтивостью, которая отличала этих двух благородных сеньоров. Но вот прозвучали трубы, и соперники, приготовив свои копья, понеслись друг на друга.

Каждый из них нанес меткий удар в щит противника, однако лошади проскакали слишком далеко, так что пришлось бросить копья на землю. Оруженосцы тотчас выбежали на поле боя, чтобы поднять оружие и вручить его своим господам. Но оба они, причем одновременно, сделали знак, и оруженосец графа Дерби вручил герцогу Туренскому копье своего господина, в то время как французский оруженосец подал графу Дерби копье герцога. Этому обмену оружием все шумно аплодировали и сочли, что произведен он был совершенно по-рыцарски.

Соперники снова разошлись по местам, приготовились и опять устремились в бой. На сей раз лошади более содействовали ловкости своих всадников: они столь точно неслись прямо вперед, что казалось, столкнутся лбами и расшибут себе головы. И на этот раз, как и в первой схватке, соперники нанесли друг другу такие меткие и сильные удары, что копья их разлетелись на куски и в руке у каждого остался лишь обломок.

Тогда они вновь обменялись поклонами. Герцог Туренский возвратился к себе в шатер, а граф Дерби покинул ристалище. У ворот его ожидал королевский паж, который от имени короля передал графу приглашение занять место между зрителями по левую сторону от королевы. Граф Дерби принял это лестное приглашение и вскоре появился на королевском балконе в боевых доспехах, в которых сию минуту сражался; он снял только свой шлем, и паж в роскошной ливрее нес его позади.

Едва граф успел занять место, трубы протрубили третий вызов. На сей раз ответ последовал немедленно, прозвучав словно эхо. Но это был резкий и грозный звук военной трубы, какими пользовались только в настоящих сражениях, чтобы утратить неприятеля. Все вздрогнули, а герцогиня Валентина в страхе перекрестилась и прошептала: «Господи, смилуйся надо мною!»

Взгляды присутствующих устремились к воротам. Ворота отворились, и в них показался рыцарь, облаченный в доспехи, предназначенные для военного поединка. При нем были тяжелое копье, длинная шпага, из тех, которыми можно действовать попеременно то одной, то обеими руками, секира и два щита – один висел на шее, другой был надет на руку; соответственно гербу герцога Туренского, на котором, как уже говорилось выше, была изображена суковатая дубина с девизом «Бросаю вызов», эмблема рыцаря представляла собой струг для срезания сучьев с ответной надписью: «Вызов принимаю».

Все смотрели на вновь явившегося с особенным любопытством, которое всегда возбуждают подобные обстоятельства. Но забрало его шлема было опущено, на щите не было никаких геральдических знаков, и только украшение на каске – графская корона из чистого золота – неоспоримо свидетельствовало о его высоком происхождении или титуле. Он въехал на ристалище, управляя своим боевым конем с тем изяществом и ловкостью, которые не позволяли сомневаться, что это умелый и закаленный рыцарь. Приблизившись к королевскому балкону, он наклонил голову до самой конской гривы, среди полнейшей тишины подъехал к шатру герцога Туренского и острием копья с силой ударил в военный щит своего дерзкого соперника. «Смертельная схватка...» – пронеслось с одного конца ристалища до другого. Королева побледнела, герцогиня Валентина вскрикнула.

У входа в шатер герцога тотчас появился один из его оруженосцев, осмотрел, каким оружием для нападения и защиты располагает рыцарь, потом, вежливо поклонясь ему, сказал: «Все будет так, как вы, милостивый государь, пожелаете» – и удалился. Рыцарь же отъехал в другой конец ристалища, где ему пришлось ждать, пока герцог Туренский закончит свои приготовления. Минут через десять герцог выехал из шатра в тех же самых доспехах, в каких был с утра, только на другой, свежей и сильной лошади; у него, как и у его соперника, были крепкое копье с железным острием, длинная шпага на боку и прикрепленная к седлу секира. Все его оружие, равно как и кираса, было богато украшено золотой и серебряной чеканкой.

Герцог Туренский, взмахнув рукой, подал знак, что он готов; слышались трубы, противники подняли свои копья и, пришпорив лошадей, решительно устремились друг на друга. Встретились они ровно на середине ристалища, настолько каждому из них не терпелось поскорее начать поединок. Сблизившись, каждый нанес сопернику мощный и меткий удар: копье герцога, ударив в щит противника, пробило его насквозь, уперлось в кирасу, соскользнуло под наплечник и легко ранило рыцаря в левую руку. От этого удара копье герцога сломалось почти у самого острия, и отломившийся кусок остался в щите.

– Ваше высочество, – обратился рыцарь к своему противнику, – смените, пожалуйста, шлем, а я тем временем выдерну обломок вашего копья, ибо он хоть и не причиняет мне боли, но мешает продолжать поединок.

– Благодарю, мой кузен граф Неверский, – ответил герцог, узнав своего противника по той глубокой ненависти, которую они давно уже питали друг к другу. – Благодарю вас. Я даю вам столько времени, сколько требуется, чтобы остановить кровь и перевязать руку, а я буду продолжать битву без шлема.

– Как вам угодно, ваше высочество. Сражаться, конечно, можно и с обломком копья в щите, и с незащищенной головой. Мне требуется время лишь на то, чтобы бросить копье и обнажить шпагу.

Говоря это, он успел сделать то и другое и уже приготовился к бою. Герцог Туренский последовал примеру противника и, отпустив поводья лошади, прикрыл обнаженную голову щитом. Между тем левая рука графа свисала в бездействии, ибо латы на ней были повреждены копьем и пользоваться ею граф не мог. Оруженосцы, поспешившие было на помощь своим господам, увидев, что они продолжают битву, тотчас удалились.

И в самом деле битва возобновилась с новым ожесточением. Графа Неверского не очень заботило то, что он не может пользоваться левой рукой; полагаясь на прочность своих доспехов, он смело принимал удары противника и сам непрестанно атаковал его, целясь ему в голову, прикрытую теперь только щитом, и удар по этому щиту был подобен удару молота по наковальне. Между тем герцог Туренский, отличавшийся изяществом и ловкостью еще более, чем силой, кружился вокруг графа, пытаясь обнаружить уязвимое место в его вооружении и атакуя острием шпаги, ибо не рассчитывал добиться успеха ее лезвием. Над полем воцарилась полнейшая тишина: в ограде слышны были только удары железа о железо. Казалось, что зрители не осмеливаются даже дышать и что вся жизнь этой замершей толпы переместилась в ее глаза, сосредоточилась в ее взорах.

Поскольку никто не знал имени противника герцога Туренского, все симпатии, все сочувствие были на стороне герцога. Голова его, затененная щитом, могла бы послужить живописцу великолепной моделью головы архангела Михаила. Беспечное выражение исчезло с его лица, глаза горели пламенем, развевающиеся волосы ореолом обрамляли лоб, сквозь раскрывшиеся в судорожном движении губы сверкал ряд белоснежных зубов. И при каждом ударе, наносимом ему противником, дрожь пробегала по рядам зрителей, словно все отцы трепетали за своих сыновей, все женщины – за своих возлюбленных.

Между тем щит герцога начал понемногу сдавать, с каждым ударом от него убавлялась частица стали, словно били не по металлу, а рубили дерево; но вот наконец он дал трещину, и герцог почувствовал, что удары, дотоле падавшие на щит, теперь обрушиваются ему на руку; скользнув по ней, последний удар пришелся в голову и слегка оцарапал герцогу лоб.

Видя, что от треснувшего щита мало проку, что шпага слишком слаба против доспехов соперника, герцог Туренский отскочил на своей лошади чуть назад и, отбросив левой рукой щит, а правой шпагу, схватил обеими руками тяжелую секиру, висевшую на луке седла, и, прежде чем граф Неверский успел догадаться о его намерениях, он налетел на него и ударил по шлему с такой силой, что застежки у наличника лопнули: граф хоть и остался в шлеме, лицо его открылось. Узнав графа Неверского, все ахнули.

В ту минуту, когда он подскочил на своем седле, чтобы отплатить за удар ударом, жезлы обоих арбитров упали между противниками, и король громко, так что голос его покрыл все прочие голоса, воскликнул:

– Довольно, господа, довольно!

Дело в том, что при ударе графа Неверского, увидев на лице герцога кровь, герцогиня Валентина лишилась чувств, а бледная и трепещущая королева схватила короля за руку и прошептала:

– Велите прекратить поединок, ваше величество! Ради бога, велите прекратить!..

Противники, хотя они и были ожесточены до предела, тут же остановились. Граф Неверский вложил в ножны свою шпагу, герцог Туренский прикрепил секиру к луке седла. Прибежали их оруженосцы: одни бросились останавливать кровь, струившуюся по лицу герцога, другие стали извлекать обломок копья, торчавший в щите графа и дошедший до самого его плеча. Покончив с этим, оруженосцы раскланялись с холодной учтивостью, словно были заняты самой безобидной игрой. Граф Неверский удалился с ристалища, а герцог Туренский направился в свой шатер за другим шлемом. Король поднялся со своего места и громко сказал:

– Милостивые государи, мы желаем, чтобы поединок на этом закончился!

Герцогу Туренскому пришлось изменить свое намерение, и, желая получить браслет, предназначенный в награду участнику поединка, он поспешил к королевскому балкону. Но когда он подъехал, королева Изабелла любезно сказала ему:

– Поднимитесь к нам, ваше высочество! Чтобы придать этому подарку больше цены, мы хотели бы сами надеть его вам на руку.

Герцог легко спрыгнул с лошади. Минуту спустя он уже стоял на коленях перед королевой и принимал из ее рук браслет, обещанный ему во время ее торжественного въезда. И в то время как герцогиня Валентина отирала лоб своего супруга, дабы удостовериться, что рана его неглубока, а король приглашал графа Дерби во дворец к обеду, рука герцога Туренского встретилась с рукой королевы Изабеллы: то был тайный знак преступной благосклонности, впервые оказанный и впервые принятый.

Глава V

Когда празднества и турниры были закончены, король занялся делами по управлению королевством: на границах страны все было совершенно спокойно, и Франция могла немного передохнуть в окружении своих союзников. Это были на востоке – герцог Галеас Висконти, которого связывал с французским королевским домом брак герцогини Валентины с герцогом Туренским; на юге – король арагонский, родственник французского короля по линии своей жены Иоланды де Бар; на западе – герцог Бретонский, беспокойный и непокорный вассал, но отнюдь еще не откровенный противник; наконец, на севере – Англия, самый заклятый враг Франции; чувствуя, однако, что в собственных ее недрах зреют семена междоусобной войны, Англия на время подавила свою ненависть и как бы из милости предоставила сопернице трехлетнее перемирие, которого и сама вполне могла бы смиренно испрашивать у нее.

Итак, одни только провинции требовали в это время заботы короля, но зато они требовали ее весьма настойчиво. Разоренные управлением сначала герцога Анжуйского, а затем герцога Беррийского, Лангедок и Гиень, истощив свое золото и свою кровь, простирали к юному государю исхудалые молящие руки.

Мессир Жан Лемерсье и сир Гийом де ла Ривьер, оба из числа ближайших советников короля, уже давно убеждали его посетить отдаленные области своего королевства. В конце концов Карл решился, и отъезд был назначен на 29 сентября 1389 года, день святого Михаила. Путь его лежал через Дижон и Авиньон, и потому герцога Бургундского и Папу Климента уведомили о предстоящем прибытии короля.

В назначенный день в сопровождении герцога Туренского, сира де Куси и многих других вельмож Карл выехал из Парижа. В Шатильон-сюр-Сен его встречали герцог Бурбонский и граф Неверский, прибывшие туда заранее, чтобы оказать ему эту почесть. По прибытии в Дижон Карл застал там герцогиню Бургундскую и ее двор, состоявший из дам и девиц, чье присутствие могло доставить королю особое удовольствие. Речь идет о госпоже де Сюлли, графине Неверской, госпоже де Вержи и многих других представительницах благороднейших семей Франции. В Дижоне торжества продолжались десять дней, и король простился со своей теткой, осыпав дам ее двора множеством комплиментов и подношений. Что же касается герцога, то он спустился вниз по Роне и прибыл в Авиньон почти одновременно с королем.

Знаете ли вы Авиньон, этот священный город, ныне печальный и мрачный, подобно утратившей свое могущество державе, город, который, как в зеркало, смотрится в воды Роны, словно ища на челе своем папскую тиару? В ту пору Авиньон был столицей Климента VII. Великий магистр Мальтийского ордена окружил ее новым поясом укреплений[9 - Первые укрепления были снесены по приказу Людовика VIII.]. Иоанн XXII, Бенедикт XII, Климент VI, Урбан V построили в городе папский дворец, а святой Бенезет украсил его великолепным мостом. Город имел блестящий двор, который состоял из жадных до мирских удовольствий кардиналов и легкомысленных аббатис, проводивших дни среди благовоний, кутившихся во время священных церемоний и празднеств, и блаженно засыпавших ночью под сладостные песни Петрарки и отдаленный рокот фонтана Воклюз.

Филипп Красивый, подняв папскую корону, упавшую с головы Бонифация VIII стараниями Колонны, увенчал ею Климента VII и, желая объединить в своих руках и в руках своих преемников духовную и светскую власть, возымел дерзновенное намерение лишить Рим папского престола и перевести его во Францию. Авиньон принял в своих стенах святого насельника Ватикана, Рона увидела заместника Христова, со своего балкона простиравшего связующую и разрешающую длань, и французы впервые услышали папское благословение

«Urbi et orbi»[10 - «Городу и миру» (лат.)].

Но в католической церкви произошел великий раскол: поначалу испугавшись, Рим вскоре снова ободрился и воздвиг алтарь против алтаря. Христианский мир разделился на две части: одни признавали авиньонского Папу, другие утверждали, что первосвященнический престол может пребывать только там, где основал его святой Петр. Оба Папы, со своей стороны, не оставались безучастными в этой междоусобной войне, исход которой был для каждого столь важен: они стали во главе двух огромных христианских армий и, предавая один другого анафеме, сокрушали собственную власть своею же властью и безрассудно расточали духовные стрелы, меча их друг против друга.

В продолжение этой великой распри народы, смотря по тому, были они союзниками или врагами Франции, признавали то авиньонского Папу, то Папу Римского. Единственными приверженцами Климента VII в то время были король испанский, король шотландский и король арагонский. Но так как приверженность эта объяснялась исключительно их уважением к королю Франции, для Климента было огромной радостью принять государя, который один только еще и поддерживал его против притязаний соперника. И если во время торжественных трапез и празднеств, которые Климент устраивал в честь Карла VI, Папа сидел за отдельным столом и занимал место впереди короля, то очень скоро он постарался заставить своего гостя забыть это превосходство алтаря над тронем, уступив королю право раздавать земельные участки бедным клирикам Французского королевства, позволив ему назначить епископов Артрского и Оксерского и, наконец, определив архиепископом Реймским ученого Ферри Кассинеля, которого король удостоивал своим покровительством и который спустя месяц после своего избрания скончался, отравленный доминиканцами.

В обмен за эти милости король Франции обязался предоставить Клименту VII помощь и поддержку против антипапы и обещал, что по возвращении во Францию[11 - Авиньон в то время не принадлежал Франции: он являлся столицей самостоятельного графства.] он энергично, и даже силою оружия, займется уничтожением существующего раскола.

Пробыв в Авиньоне неделю, король распрощался с Климентом и возвратился в Вильнев. Тут он, к большому удивлению герцогов Беррийского и Бургундского, поблагодарил их за приятное общество, которое они ему составили, и объявил о своем желании, чтобы они возвратились один в Дижон, другой в Париж, между

тем как сам он продолжит свой путь в Тулузу в сопровождении герцога Туренского и герцога Бурбонского.

Тут только оба дяди короля поняли, какова истинная причина этого путешествия и что, предпринимая его, король имел одну цель: произвести расследование насчет произвола, царящего в управлении Лангедоком и уже разорившего этот край. При короле остались мессир де ла Ривьер и Лемерсье, Монтань и Ле Бэг де Виллен, о которых дяди короля знали, что это люди честные и неподкупные, и которых герцог Беррийский считал своими личными врагами, хотя, в сущности, они были лишь врагами его вымогательства. Из Вильнева оба герцога уехали весьма опечаленными.

– Что вы, любезный брат мой, об этом думаете? – обратился герцог Беррийский к герцогу Бургундскому, когда они выезжали из города.

– Думаю, – отвечал последний, – что племянник наш еще молод и что себе же на беду он прислушивается к молодым советчикам. Однако придется немного потерпеть. Настанет день, и те, кто ведет его по ложному пути, раскаются, да и сам король тоже. Нам же, братец, остается ехать в свои владения: пока мы будем заодно, нам никто не страшен, ибо после короля мы во Франции первые люди.

На другой день король отправился в Ним и, не останавливаясь в этом древнем римском городе, поехал на ночлег в Люнель. Еще через день он сделал остановку в Монпелье для обеда, и тут к нему начали поступать жалобы; при этом ему говорили, что, чем дальше он будет двигаться вперед, тем больше разорений увидит, что дяди его, герцоги Анжуйский и Беррийский, правившие здесь один после другого, довели страну до такой бедности, что даже у самых богатых людей не хватает средств, чтобы возделывать свои виноградники и обрабатывать поля.

– Вам, государь, тяжело будет видеть, – говорили ему, – как у ваших подданных отнимают треть, четверть, двенадцатую часть того, что они имеют, как они по пять-шесть раз в году платят подати и облагаются новым налогом еще прежде, чем успеют внести старый. Ведь на землях между Роной и Жирондой дядюшки ваши самовольно собирали более тридцати тысяч ливров. Герцог Анжуйский взыскивал с одних только богатых, а уже герцог Беррийский, который его сменил, тот не щадил никого! Рассказывали, что лихоимства эти совершались руками его казначея Бетизака, родом из города Безье, и что этот Бетизак увозил

с полей все до последнего зернышка, не оставляя даже того, что земледелец оставляет птицам небесным: колосок, упавший с телеги, и тот подбирает.

На эти слова король отвечал, что, если Бог ему поможет, лихоимствам этим будет положен конец; он не посмотрит на то, что герцоги, его дяди, приходится братьями его отцу, а над их недобросовестными советниками и помощниками он велит учинить беспристрастное и строгое следствие.

Выслушав все эти жалобы и обвинения, король въехал в Безье, где находился Бетизак, но приказал молчать обо всем, что ему донесли, и первые три или четыре дня пребывания в городе как будто бы посвятил празднествам, а между тем тайно распорядился произвести расследование. На четвертый день ему донесли, что Бетизака, казначея его дяди, простить невозможно, ибо он повинен в таких злоупотреблениях, которые караются смертной казнью. Тогда созвали королевский совет, где было решено схватить Бетизака в его собственном доме и привести в суд.

Судьи разложили на столе перед обвиняемым множество документов, доказывающих его лихоимство, и сказали ему:

– Бетизак, смотрите и отвечайте: как вы можете объяснить эти расписки?

Один из чиновников поочередно брал со стола расписки и читал их вслух одну за другой. Однако на каждую у Бетизака был уже готов ответ. Те, на которых стояла его подпись, он признавал, но говорил, что действовал по приказанию герцога Беррийского, который может это подтвердить. От других расписок отказывался.

«Понятия даже о них не имею, – утверждал он, – спросите у сенешалей бокерского и каркассонского, а еще лучше у канцлера... герцога Беррийского».

Судьи были в большом замешательстве, но в ожидании новых доказательств отправили Бетизака в тюрьму. Сами же они сделали обыск в его доме, взяли все его бумаги и внимательно изучили их. Из этих бумаг явствовало, что Бетизак совершал такие лихоимства и собирал с сенешальств и королевских поместий такие баснословные суммы, что читавшие эти документы просто не верили своим глазам. Тогда его снова привели в суд, и он признал правильность всех предъявленных ему счетов, подтвердив, что на самом деле получал означенные

суммы, но добавил, что, пройдя через его руки, они тут же поступали в казну герцога Беррийского, на что дома у него имеются квитанции, место хранения которых он указал. Квитанции действительно были доставлены в совет, их сравнили с расписками и счетами, и сумма почти сошлась: она составляла около трех миллионов.

Судьи были поражены доказательствами корыстолюбия герцога Беррийского. У Бетизака спросили, на что же его господин мог тратить такие огромные деньги.

– Не могу этого знать, – отвечал он. – Немалая часть, думается мне, пошла на покупку замков, дворцов, земель и драгоценностей для графов Булонского и Этампского. Собственные дома герцога, как вы знаете, содержатся в большой роскоши, да и слугам своим, Тибо и Морино, он давал столько, что они теперь сделали богачами.

– Ну а на вашу долю, Бетизак, – спросил его сир де ла Ривьер, – тысяч сто франков досталось в этом грабеже?

– Милостивый государь, – ответил Бетизак, – свою власть герцог Беррийский получил от короля, я же свою – от герцога Беррийского, стало быть, в сущности, я тоже уполномочен королем, ибо действовал от лица его наместника. Поэтому все подати, которые я собирал, были законны. Что же касается оставшегося на мою долю, то на это я имел соизволение герцога Беррийского, а герцог заботился о том, чтобы его люди не бедствовали: выходит, богатство мое вполне законно, ибо досталось оно мне от герцога.

– Вы говорите сущий вздор! – ответил ему мессир Жан Лемерсье. – Богатство нельзя считать законным, если оно приобретено нечестным путем. Возвращайтесь-ка снова в тюрьму, а мы обсудим то, что вы здесь показали, и представим королю ваши доводы. Пусть будет так, как он решит.

– Да вразумит его Господь! – промолвил Бетизак.

Он поклонился своим судьям и был снова уведен в тюрьму.

Между тем, едва только разнеслось известие о том, что Бетизак по приказанию короля взят под стражу и будет судим, жители окрестных селений начали стекаться в город; несчастные, которых он грабил, пытались проникнуть в

королевский дворец, чтобы молить о справедливости, а когда король выходил, они бросались перед ним на колени и протягивали ему свои просьбы и жалобы. Тут были дети, которых Бетизак сделал сиротами, были женщины, которых он сделал вдовами, были и девицы, которых Бетизак обесчестил. Там, где ему не хватало красноречия, он употреблял силу. Этот злодей посягал на все: на имущество, честь, жизнь человеческую. Король понимал, что кровь его жертв взывает о мщении, и приказал, чтобы совет произнес Бетизаку свой приговор.

Но вот в ту самую минуту, когда совет собрался, вошли два человека: это были сир де Нантуйе и сир де Меспен. Они явились по поручению герцога Беррийского, дабы подтвердить сказанное Бетизаком и просить короля и его совет передать им этого человека и, если будет угодно, возбудить следствие против самого герцога.

Совет оказался в крайне затруднительном положении. Герцог Беррийский мог не сегодня завтра вновь обрести влияние на короля, которое он утратил; в предвидении этого каждый боялся его разгневать. С другой же стороны, лиходейства Бетизака были до того явны, до того очевидны, что грешно было бы оставить его безнаказанным. Тогда было предложено конфисковать все его движимое и недвижимое имущество, распродать его, а вырученные деньги разделить между бедняками, так что Бетизак снова стал бы таким же нищим, каким взял его к себе герцог Беррийский. Однако король не желал полусправедливости: он сказал, что такое возмездие удовлетворило бы лишь тех, кого Бетизак разорил, но что для семей, которым он принес смерть и бесчестие, нужны его смерть и посрамление.

Тем временем в совет явился некий старец. Узнав, что там происходит, он заявил королю и его советникам, что готов заставить Бетизака признаться в таком преступлении, которое было совершено лично им и которое герцог Беррийский не мог бы взять на себя. Старика спросили, что же для этого нужно сделать. «Для этого надо посадить меня в ту самую темницу, в которой сидит Бетизак» – таков был ответ. Других объяснений он давать не хотел, говоря, что остальное уж его дело, никого, мол, оно не касается и он готов довести его до конца. Сделали так, как хотел старик: стражники публично препроводили его в тюрьму, тюремщик получил необходимые указания, впихнул новопривывшего в темницу, где сидел Бетизак, и запер за ним дверь.

Старик прикинулся, будто и не знает, что в камере кто-то есть: он шел, вытянув вперед руки, словно ничего не видит, а когда добрался до противоположной

стены, то сел, прислонясь к ней спиной, обхватив голову руками и уперев локти в колени.

Бетизак, глаза которого за неделю уже привыкли к темноте, следил за новым узником с любопытством человека, находящегося в подобном же положении. Он нарочно пошевелился, чтобы привлечь к себе его внимание, но старик сидел неподвижно, словно погруженный в свои думы. Тогда Бетизак решил заговорить с ним и спросил, не из города ли он попал в этот застенек.

Старик поднял глаза и в углу заметил Бетизака: он стоял на коленях в молитвенной позе. И этот человек еще дерзал молиться! Старик задрожал, увидев себя рядом с тем, которому он поклялся отомстить. Бетизак повторил вопрос.

- Да, из города, - ответил старик глухим голосом.

- И о чем же там толкуют? - спросил Бетизак, изобразив на лице полное безразличие.

- Толкуют о некоем Бетизаке, - сказал старик.

- Ну и что о нем говорят? - робко продолжал Бетизак, которого сильно волновал заданный им вопрос.

- Говорят, что правосудие наконец свершится и скоро его повесят.

- Господи Иисусе! - воскликнул Бетизак, вскочив на ноги.

Старик снова обхватил голову руками, и тишину темницы нарушало теперь лишь стесненное дыхание человека, узнавшего вдруг нечто страшное. Минуту он оставался недвижим, но вскоре ноги изменили ему; он прислонился к стене и отер лоб. Потом, немного придя в себя, продолжал хриплым голосом:

- Пресвятая Богородица!.. Стало быть, для него нет никакой надежды?!

Старик промолчал и не шелохнулся, словно и не слышал вопроса.

- Послушайте, значит, для него нет никакой надежды?.. - снова спросил Бетизак, подойдя к старику и яростно тряся его руку.

- Есть, - спокойно произнес старик, - одна-единственная: если перервется веревка.

- Боже мой, боже!.. - воскликнул Бетизак, ломая руки. - Что же делать?.. Кто даст мне совет?..

- А, - мрачно протянул старик, глядя на Бетизака столь пристальным взглядом, будто боялся упустить малейшую подробность в выражении его отчаяния. - Так это вы и есть тот, кого прокликает весь народ? До чего же, видать, тяжело доживать последние часы преступной жизни.

- Да пусть отнимут у меня все, - сказал Бетизак, - движимое, деньги, дома! Пусть их отдадут этим негодующим людям, только бы оставили мне жизнь! Я готов провести свои дни в темнице, закованный в цепи, не видя света Божьего! Только бы жить, жить! Я жить хочу!..

Несчастный катался по земле, как безумец. Старик молча смотрел на него. Потом, видя, что тот уже изнемог, он спросил:

- А как ты вознаградишь человека, который помог бы тебе из этого выпутаться?

Бетизак поднялся на колени; он пристально смотрел на старика, будто хотел проникнуть в самую глубину его сердца.

- О чем вы говорите?..

- Я говорю, что мне жаль тебя, и, если ты послушаешь моего совета, все еще может кончиться благополучно.

- Продолжайте же, продолжайте: я богат... все мое богатство...

Старик рассмеялся.

– Вот оно что! – сказал он. – Значит, ты надеешься выкупить свою жизнь тем же самым, чем ее погубил, не так ли? И думаешь таким путем рассчитаться с людьми и с Богом?

– Нет, нет! Я все равно останусь преступником, я это знаю. И я горько раскаиваюсь... Но вы сказали, что есть средство... Какое же?

– Будь я на твоём месте, да упаси меня от этого Бог, вот что бы я сделал...

Бетизак пожирал каждое слово старика по мере того, как они вылетали из его уст.

– Явившись снова в королевский совет, – продолжал старик, – я бы по-прежнему отпирался...

– Да-да... – согласился Бетизак.

– Я сказал бы, что чувствую себя виноватым в другом преступлении и хочу покаяться в нем ради спасения своей души. Я бы сказал, что долго блуждал в неверии, что я манихей и еретик...

– Но ведь это неправда! – воскликнул Бетизак. – Я добрый христианин, верующий в Иисуса Христа и в Деву Марию.

– Я сказал бы, что я манихей и еретик и что я крепок в своих убеждениях, – продолжал старик, словно Бетизак и не возражал ему. – Тогда меня потребовал бы к себе епископ, потому что я подлежал бы уже суду церковному. Епископ отослал бы меня к авиньонскому Папе. Ну а так как святой отец наш Климент большой друг герцога Беррийского...

– Понимаю, – прервал Бетизак. – Да-да, наш герцог Беррийский не допустит, чтобы мне причинили зло. О, вы мой спаситель!

При этих словах он бросился было обнимать старика, но тот оттолкнул его. В эту минуту дверь отворилась: пришли за Бетизаком, чтобы вести его в королевский совет.

Здесь, в совете, Бетизак решил, что теперь самое время пустить в ход ту хитрость, которой научил его старик, и, встав на одно колено, он попросил разрешения говорить. Ему немедленно дали слово.

– Почтенные господа, – начал он, – я обдумал свои поступки, я проверил свою совесть и боюсь, что сильно прогневил господа, но не тем, что я грабил и взимал деньги с бедняков, ибо всем, слава богу, известно, что я это делал по приказанию моего господина, а тем, что я блуждал в неверии...

Судьи удивленно переглянулись.

– Да, – продолжал Бетизак, – да, господа, ибо разум мой не верит ни в Святую Троицу, ни в то, что Дух Святой спустился с небес, дабы воплотиться от женщины, и я думаю, что душа моя умрет вместе со мною...

По всему собранию прошел ропот изумления. Тогда сир Лемерсье, смертельный враг Бетизака, поднялся и сказал:

– Бетизак, подумайте о том, в чем вы сейчас признались! Ибо своими словами вы наносите тяжкое оскорбление нашей матери святой церкви и заслуживаете за них костра. Так что одумайтесь!

– Не знаю, – отвечал Бетизак, – чего я заслуживаю, но так я думаю с тех пор, как во мне пробудилось сознание, и так буду думать до той минуты, пока оно живет во мне.

Тут судьи осенили себя крестным знаменем и, испугавшись за свое собственное спасение, прервали речь Бетизака, приказав водворить его снова в тюрьму. Войдя в темницу, он стал искать старика, чтобы обо всем ему рассказать, но старика в темнице уже не было.

Что произошло в душе Бетизака, известно одному Богу. Однако на следующий день это был совсем другой человек. Каждый прожитый им час Бог превратил в годы: за одну ночь волосы его поседели.

Узнав о показаниях Бетизака, король был немало удивлен.

– О, это дурной человек, – сказал он. – Мы полагали, что он только мошенник, а он, оказывается, еще и еретик. Мы считали, что ему достаточно веревки, а он сам просится на костер. Ну что ж, быть посему! Он будет сожжен и повешен. Пусть теперь мой дядя, герцог Беррийский, берет на себя его преступления: мы увидим, согласится ли он принять на себя и это.

Вскоре слухи о признаниях подсудимого распространились по всему городу; радостные толпы заполнили улицы, потому что народ ненавидел и проклинал Бетизака. Но никто не был поражен этой новостью сильнее, чем два рыцаря, прибывшие в город, чтобы от имени герцога Беррийского потребовать его выдачи. Они поняли, что Бетизак себя погубил, и решили, что подобное признание он мог сделать лишь по наущению врага. Однако что бы там ни было, Бетизак признался, и король уже вынес свой приговор. Оставалась единственная надежда: заставить его отречься от показаний, которые он дал накануне.

Поэтому оба рыцаря отправились в тюрьму, чтобы повидать Бетизака и научить его, как оправдаться. Однако тюремщик сказал, что ему и еще четверем стражникам, караулившим преступника, король под страхом смерти запретил допускать кого бы то ни было с ним разговаривать. Огорченные этим рыцари поскакали обратно к герцогу Беррийскому.

На другой день часов около десяти утра за Бетизаком пришли. Когда он понял, что его ведут не в королевский совет, а во дворец епископа, он немного приободрился. Во дворце собрались вместе как королевские чиновники, так и чиновники святой церкви. Это послужило Бетизаку лишним доказательством, что между судом светским и церковным нет согласия. Вскоре безьерский градоначальник, доселе державший его в тюрьме, сказал, обращаясь к церковнослужителям:

– Милостивые государи, перед вами Бетизак, которого мы вам передаем как еретика и человека, проповедовавшего против веры. Если бы его преступление подлежало королевскому суду, этот суд и судил бы его. Но он еретик и потому подлежит суду церковному. Судите же вы его по его делам.

Бетизак решил, что он спасен.

В это время епископальный судья спросил его, действительно ли он такой грешник, как здесь говорили. Видя, что дело принимает тот самый оборот,

которого, как ему было сказано, только и можно пожелать, Бетизак ответил, что, мол, да, это верно. Тогда в залу впустили народ и заставили Бетизака прилюдно повторить свое признание. Бетизак повторил его трижды, так он был околдован старцем, а народ трижды выслушал это признание, выслушал с рыканьем льва, чующего запах крови.

Судья подал знак, и вооруженные стражи схватили Бетизака и повели его прочь. Когда он спускался по ступеням епископского дворца, народ обступил его со всех сторон таким плотным кольцом, словно боялся, как бы он не удрал. Бетизак думал, что его ведут из города, с тем чтобы отправить в Авиньон. Внизу, у лестницы, он вдруг увидел своего старика. Тот сидел на тумбе, лицо его светилось радостью, которую Бетизак истолковал как добрый знак: он кивнул ему головой.

– Да-да, все идет на лад, – промолвил старик в ответ и рассмеялся. Он встал на тумбу и, оказавшись над толпой, закричал: – Не забудь же, Бетизак, это я дал тебе хороший совет!

Потом, сойдя с тумбы на землю, старик поспешно, насколько позволял ему преклонный возраст, зашагал по улице, которая вела к епископскому дворцу.

Бетизака вели туда же, но по другой, широкой улице, по-прежнему в окружении огромной толпы, которая время от времени раздражалась негодующими криками, нам уже знакомыми, ибо мы не раз их слышали. Преступник различал в этих криках лишь голос ярости народа, который видит, что добыча от него ускользает, и он даже удивлялся тому, что эти люди позволяют ему так спокойно выйти из стен города. Когда его привели на площадь перед епископским дворцом, то и здесь он был встречен гневным криком толпы, подхваченным теми, кто его сопровождал. Но тут люди устремились к самой середине площади, где был сложен костер, из которого поднималась виселица, протягивая к большой улице свою тощую руку с цепью и железным ошейником. Бетизак остался один со своими четырьмя стражниками, настолько все торопились занять для себя поудобнее место около эшафота.

В эту минуту истина предстала перед Бетизаком во всей своей наготе: она обрела облик смерти.

– О герцог, герцог, – вскричал он, – я погиб! Помогите, помогите!..

Толпа ответила возгласами проклятия: она проклинала герцога Беррийского вместе с его казначеем.

Так как преступник ни за что не хотел идти дальше, четверо стражников подняли его и понесли на руках; он отбивался, кричал, что он вовсе не еретик, что он верит в воплотившегося Христа и в святую Мадонну, божился, что говорит правду, просил у народа пощады, но каждый раз мольбы его встречались взрывами хохота. Он призывал на помощь герцога Беррийского, но каждый раз крики: «Смерть! Смерть!» – были ответом на его мольбы.

В конце концов стражники притащили Бетизака к костру. И здесь он увидел старика: тот стоял, опершись на одно из бревен, загораживавших вход к костру.

– Негодяй! – воскликнул Бетизак. – Это ты привел меня сюда!.. Люди добрые! Я ни в чем не виноват, этот человек околдовал меня. Спасите, люди добрые, пощадите!..

Старик рассмеялся.

– Память, видать, у тебя хорошая! – крикнул он Бетизаку. – Ты не забываешь друзей, которые советуют тебе добро. Вот тебе мой последний совет: подумай о своей душе!

– Да-да... – промолвил Бетизак, надеясь выиграть время, – да-да... священника... священника!..

– А на что он нужен, священник-то? – спросил старик. – У этого изверга нет души, а тело его уже погибло!

«Смерть ему! Смерть ему!» – редела толпа.

К Бетизаку подошел палач.

– Бетизак, – обратился он к нему, – вы осуждены на смертную казнь, ваши дурные поступки привели вас к печальному концу.

Бетизак не двигался, глаза его бессмысленно смотрели вокруг, волосы встали дыбом. Палач схватил его за руку, и он пошел покорно, совсем как ребенок. Взойдя на эшафот, палач приподнял преступника, а подручные, раскрыв ошейник, надели его Бетизаку на шею: он повис, хотя удушья еще не наступило. В эту самую минуту старик схватил уже приготовленный горячий факел и поджег костер; палач со своими помощниками соскочил с моста. Пламя, готовое поглотить несчастного, возвратило ему энергию. И тогда он, без единого крика, уже не прося больше пощады, схватился обеими руками за цепь, на которой висел, и, цепляясь за ее кольца, стал карабкаться по ней все выше и выше, пока не добрался до перекладины. Обхватив ее руками и ногами, он таким образом, насколько это было возможно, удалился от пламени. Пока еще костер только разгорался, пламя его не достигало, но вскоре оно охватило весь костер и, как живое, одушевленное существо, как змея, подняло голову к Бетизаку, меча в него дым и искры, и наконец принялось лизать его своим огненным языком. От этой смертоносной ласки несчастный закричал, одежда на нем запылала.

Воцарилась глубокая тишина: толпа замерла, боясь упустить хотя бы малость в этой последней схватке между человеком и стихией; слышны были только жалобные его стоны и ее ликующий рев. Человек и огонь, жертва и палач, казалось, сплелись друг с другом в смертельном объятии, но наступила минута, и человек признал себя побежденным: колени его ослабели, руки отказывались держаться за раскаленную цепь; он испустил истошный крик и, свалившись, висел, охваченный пламенем. Это бесформенное существо, уже утратившее человеческий облик, еще несколько секунд судорожно извивалось среди огня, потом остановилось в неподвижности. Еще через мгновение кольцо, державшее цепь, высвободилось, ибо и сама виселица уже горела, и тогда, словно увлекаемый в преисподнюю, труп упал вниз и исчез в пламени костра.

Несметная толпа народа сразу же молча рассеялась, подле костра остался только старик, так что каждый задавал себе вопрос, уж не сам ли Сатана явился за душой грешника.

Старик этот был человеком, дочь которого оказалась жертвой насилия Бетизака.

А теперь, если читатель желает в подробностях представить себе описываемые нами события и готов для этого вместе с нами покинуть стены Безье; если он согласен оставить цветущие равнины Лангедока и Прованса, их знаменитые города, где звучит язык, пришедший из древних Афин и Рима; оставить серебристые оливковые рощи, пересеченные водными потоками, что струятся в густо поросших олеандром берегах, омываемых волной, еще теплой от лучей босфорского солнца, – если он готов покинуть все это ради гористой Бретани, ради ее вековых дубрав и древнего языка, ради ее зеленых океанских пучин, тогда давайте перенесемся в окрестности древнего Ванна, остановимся в нескольких лье от этого города и войдем в укрепленный замок – надежную резиденцию одного из тех могучих феодалов, которые в любую минуту готовы превратиться в опасных бунтовщиков. Там, отворив резную дверь низкой столовой, мы увидим двух человек, сидящих за столом, на котором стоит чеканной работы серебряный кубок, наполненный вином с пряностями. Видимо, один из них был с этим напитком в большой дружбе, между тем как другой от питья воздерживался, словно бы по предписанию медиков, и всякий раз, когда товарищ, не в состоянии заставить его выпить до дна драгоценную влагу, пытался хотя бы подлить ему в неполный стакан, тот упорно закрывал свой стакан рукою.

Первый, означенный нами как противник трезвости, был человеком лет пятидесяти – шестидесяти, состарившимся под боевыми доспехами, которые и сейчас покрывали его с ног до головы; смуглый, чуть порозовевший лоб этого человека, обрамленный расчесанными на пробор седеющими волосами, был изборужден морщинами, причем не столько от старости, сколько от тяжести постоянно носимого им шлема; в короткие промежутки отдыха, предоставляемого ему занятием, за коим мы его застали, он опирался локтями о стол, положив подбородок на свои сильные руки, так что рот его, спрятанный в густых усах, которых он то и дело касался нижней губой, оказывался как раз на уровне серебряного кубка, куда он поминутно заглядывал, словно следя за убывающей при каждом очередном глотке влагой.

Второй был красивый молодой человек, одетый в шелк и бархат; небрежно развалившись в широком герцогском кресле и положив голову на его спинку, он не менял этой позы, разве что время от времени протягивал, как мы видели, руку, чтобы закрыть ею свой стакан, когда старый воин пытался подлить ему напиток, достоинства которого они, должно быть, ценили столь различно.

– Ей-богу, кузен мой де Краон, – воскликнул старик, в последний раз ставя кубок на стол, – хоть вы по женской линии и происходите от короля Робера, вы, по правде сказать, весьма философски отнеслись к оскорблению, которое нанес вам герцог Туренский!

– Да что же, герцог Бретонский, мне было делать против брата короля? – отвечал Пьер де Краон, не меняя позы.

– Брата короля? Пусть так... Впрочем, я бы с этим не посчитался. Ну и что ж из того, что брат короля? Он всего-навсего герцог и дворянин, такой же, как я, и поступи он со мной, как поступил с вами... Но я никогда бы этого не допустил, а потому и говорить о нем не будем. Однако скажу вам, существует человек, который все это затеял...

– Надо думать, – равнодушно заметил Краон.

– И человек этот, скажу вам... – продолжал герцог, вновь наливая в свой стакан и поднося его к губам, – человек этот... это столь же верно, как и то, что сей напиток, который вам, видать, не по вкусу, состоит из отличнейшего дижонского вина, лучшего нарбоннского меда и отборных пряностей, привозимых из Азии... – Герцог опорожнил стакан. – Так вот, человек этот есть не кто иной, как мерзавец Клиссон!

И он ударил по столу кулаком и одновременно стаканом.

– Совершенно с вами согласен, – по-прежнему безучастно ответил мессир Пьер де Краон, словно решивший выказывать тем больше спокойствия, чем большую горячность станет выказывать герцог Бретонский.

– И вы оставили Париж, будучи в этом уверены, даже не попытавшись отомстить?

– У меня мелькнула такая мысль, но помешало одно соображение.

– Какое же? – поинтересовался герцог, откинувшись в кресле.

– Какое? Сейчас вам отвечу, – сказал Пьер, облокотившись о стол, оперев подбородок на руки и пристально глядя в лицо герцогу. – Я подумал: этот человек, оскорбивший меня, простого рыцаря, однажды нанес куда более дерзкое оскорбление одному из первых людей Франции, герцогу, да еще столь могущественному и богатому, что он мог бы вести войну с любым королем! Герцог этот подарил знаменитому Джону Шандосу Гаврский замок, и, когда объявил Клиссону об этом даре, который он, разумеется, был вправе сделать, Клиссон, вместо того чтобы выразить одобрение, воскликнул: «Черта с два, милостивый государь, англичанин будет когда-нибудь моим соседом!» В тот же вечер Гаврский замок был взят, а на другой день его стерли с лица земли. Уж не припомню точно, кому коннетабль нанес эту обиду, но знаю, что есть некий герцог, которому она была нанесена. За ваше здоровье!

Пьер де Краон взял свой стакан, залпом опорожнил его и поставил на стол.

– Клянусь своим отцом, – побледнев, воскликнул герцог Бретонский, – этим рассказом вы, кузен, замыслили обидеть нас! Ибо вы отлично знаете, что все это случилось с нами, однако вам хорошо известно и то, что спустя полгода оскорбитель стал узником того самого замка, в котором мы сейчас находимся...

– ...И из которого он вышел целым и невредимым.

– Да, заплатив мне сто тысяч ливров, отдав один город и три замка...

– Но сохранив свою проклятую жизнь, – продолжал Краон, повышая голос, – жизнь, которую могущественный герцог Бретонский не осмелился у него отнять, убоявшись навлечь на себя ненависть своего государя. Сто тысяч ливров, один город и три замка! И это месть человеку, который имеет миллион семьсот тысяч ливров, десяток городов и два десятка крепостей! Нет уж, мой милый кузен, давайте говорить откровенно: Клиссон был обезоружен, сидел закованный в цепи в самой мрачной и глубокой из ваших темниц, вы смертельно его ненавидели и все-таки не осмелились предать смерти!

– Я дал приказ Бавалану, но он его не исполнил.

– И правильно сделал, потому что, когда король потребовал бы выдать Бавалана как убийцу коннетабля, тогда тот, кто давал убийце приказ, быть может, убоялся бы королевского гнева и, действовавший всего лишь как орудие, был

бы, возможно, покинут тем, чья рука его направляла, а ведь чем шпага тоньше, тем легче ее сломать.

– Кузен мой, – сказал герцог, поднимаясь, – вы, сдается мне, сомневаетесь в нашем слове? Мы обещали Бавалану защитить его, и мы, клянусь Богом, защитили бы его от кого угодно, будь то французский король, германский император или Римский Папа. – Опустившись в кресло, он продолжал с тем же ожесточением: – Мы сожалеем только о том, что Бавалан нас ослушался и что нет никого, кто взялся бы за дело, от которого он отказался.

– А если такой объявится, он мог бы рассчитывать, что найдет потом у герцога Бретонского убежище и защиту?

– Убежище столь же надежное, как церковный алтарь, – сказал герцог торжественным голосом, – защиту столь могучую, какую только может предоставить эта рука. Клянусь прахом моих предков, собственным гербом и шпагой! Пусть только явится такой человек: он получит все.

– Я получу, ваша светлость! – воскликнул Краон, вскочив и пожав руку старого герцога с такой силой, какой тот в нем и не предполагал. – Жаль, не сказали раньше: дело было бы уже сделано.

Герцог смотрел на Краона с удивлением.

– Значит, вы думали, – продолжал рыцарь, скрестив руки, – что эта обида скользнула по моей груди, как копье по стали кирасы? О нет, она глубоко ранила мое сердце. Я казался вам веселым и беззаботным, и все-таки вы часто замечали, что я бледен. Знайте же теперь: вот эта болезнь и грызла меня изнутри, грызла зубами этого человека и будет мучить до тех пор, пока он жив. Отныне цвет радости и здоровья вновь возвратится ко мне, с нынешнего дня я начинаю выздоравливать и надеюсь, что очень скоро совсем поправлюсь.

– Каким же образом?

Краон сел.

– Послушайте, герцог, я только и ждал этого вопроса, чтобы все вам рассказать. В Париже, неподалеку от кладбища Сен-Жан[12 - Ныне – рынок Сен-Жан.], у меня есть дом, который охраняется всего одним смотрителем, человеком мне вполне преданным, в коем я совершенно уверен. Месяца три назад я написал ему, чтобы он сделал в доме изрядный запас вина, муки и солонины, чтобы закупил оружия, кольчуг, стальных рукавиц и касок для вооружения сорока человек, а набрать этих людей я взял на себя, и я их уже набрал. Это отчаянные смельчаки, которым ни Бог, ни черт не страшен и которые готовы идти даже в ад, если я буду ими предводительствовать.

– Но если вы с этим отрядом войдете в Париж, ведь вас заметят? – сказал герцог.

– Потому я этого и не сделаю. Вот уже почти два месяца, как я вербую людей и отправляю их небольшими группами, человека по три-четыре, в столицу. Им приказано по прибытии остановиться в моем доме и не выходить оттуда, а смотрителю велено ни в чем им не отказывать. Они из тех монахов, которым уготована преисподняя. Теперь вы понимаете, герцог? Этот подлый коннетабль почти все вечера проводит у короля, уходит от него в полночь, и, возвращаясь к себе в дом на Бретонской улице, он непременно должен пройти позади укреплений Филиппа-Августа, по пустынным улицам Сент-Катрин и Пули, мимо кладбища Сен-Жан, где находится мой дом.

– Право же, дорогой кузен, начато недурно!

– И кончится хорошо, ваша светлость, если Господь Бог не вмешается, ибо это поистине дьявольская затея.

– И сколько времени вы еще погостите у нас? Впрочем, мы вам очень рады!

– Ровно столько, сколько понадобится, чтобы оседлать коня, ваша светлость. Вот письмо от моего смотрителя, доставленное сегодня утром одним из слуг. Он уведомляет, что последние завербованные уже прибыли, так что теперь весь отряд в сборе.

При этих словах Пьер де Краон вызвал своего оруженосца и велел седлать себе лошадь.

– Не останетесь ли еще на одну ночь в нашем замке, любезный мой кузен? – спросил герцог, наблюдая эти приготовления.

– Очень вам благодарен, милостивый государь, но теперь, когда мне известно, что все готово и что дело только за мной, могу ли я задержаться хотя бы на час, на минуту, на одну секунду? Могу ли нежиться в постели или посиживать за столом? Я должен ехать самой прямой, самой короткой дорогой: я жажду воздуха, простора, движения! Прощайте же, герцог, увожу с собой ваше слово!

– Готов его повторить.

– Требовать от вас этого – значит усомниться в уже данном. Итак, спасибо.

При этих словах мессир Пьер де Краон повязал вокруг пояса португею своей шпаги, подтянул голенища серых кожаных сапог, подбитых красным плюшем, и, последний раз простившись с герцогом, ловко вскочил в седло.

Ехал он столь быстро и столь умело, что на седьмой день после отъезда из замка герцога Бретонского, к вечеру, был уже возле Парижа. Он дождался, когда совсем стемнеет, чтобы въехать в город, и проник к себе в дом так же бесшумно и незаметно, как до него приникали туда посланные им люди. Сойдя с лошади, он позвал привратника и велел никого не впускать к себе в комнату, пригрозив за ослушание выколоть ему глаза. Привратник передал то же самое приказание смотрителю и запер на замок свою жену, детей и служанку. «И хорошо сделал, – простодушно замечает Фруассар, – ибо ежели жена и дети расхаживали бы по улицам, то о прибытии мессира де Краона скоро стало бы известно: ведь женщинам и детям по самой их природе нелегко скрывать то, что они увидели, и то, что желают сохранить в тайне».

Приняв меры предосторожности, мессир Пьер де Краон отобрал среди своих людей самых смысленых, приказав смотрителю запомнить их в лицо, чтобы они свободно могли выходить из дома и возвращаться обратно. Им было поручено следовать за коннетаблем по пятам и сообщать обо всем, что он делает. Поэтому каждый вечер Пьер де Краон знал, где коннетабль был днем и куда отправлялся ночью. Так продолжалось с 14 мая до 18 июня, и за все это время ни одного удобного случая для мщения не представилось.

Восемнадцатого июня, в день праздника Тела Господня, король Франции устроил большой прием в своем дворце Сен-Поль, и все знатные особы, находившиеся в Париже, были приглашены к обеду, на котором присутствовали королева Изабелла и герцогиня Туренская. После обеда для развлечения дам молодыми рыцарями и оруженосцами в дворцовой ограде был устроен турнир, и мессир Гийом Фландрский, граф Намюрский, вышел победителем и получил награду из рук королевы и герцогини Валентины. А вечером танцы затянулись далеко за полночь. В это позднее время каждый уже мечтал поскорее вернуться к себе домой, и почти все выходили из дворца без провожатых. Мессир Оливье де Клиссон оставался одним из последних, и, попрощавшись с королем, он пошел от него через покои герцога Туренского. Увидя, что тот одевается, вместо того чтобы раздеваться, причем одевается весьма тщательно, коннетабль, улыбаясь, спросил у него, не идет ли он ночевать к Пулену. Пулен этот был казначеем герцога Туренского, и часто, чтобы чувствовать себя свободнее, герцог, под предлогом проверки своих денежных счетов, покидал вечерами дворец Сен-Поль, из которого ночью не мог бы выйти, ибо королевская резиденция бдительно охранялась стражей, и отправлялся к своему казначею, а уже от него шел куда заблагорассудится. Герцог понял намек коннетабля и, положив руку ему на плечо, ответил, смеясь:

– Коннетабль, пока еще мне неизвестно, где я буду ночевать, далеко или близко. Возможно, останусь во дворце. Но что до вас, то уходите, вам пора.

– Дай вам Бог доброй ночи, ваше высочество, – ответил коннетабль.

– Спасибо, спасибо. Уж тут-то я его вниманием не обойден, – пошутил герцог, – я даже весьма склонен думать, что мои ночи заботят его больше, нежели мои дни. Прощайте, Клиссон!

Коннетабль понял, что, оставшись долее, он стеснил бы герцога; он поклонился и направился к своим людям и своим лошадям, которые ожидали его у дворцовой площади. Людей этих было восемь человек, да еще двое слуг, несших факел.

После того как коннетабль сел на лошадь, слуги зажгли огонь и, идя на несколько шагов впереди него, направились по улице Сент-Катрин. Остальные шли позади, кроме одного оруженосца, которого Клиссон подозвал к себе, чтобы распорядиться насчет обеда, который он со всей роскошью собирался дать на другой день герцогу Туренскому, сирю де Куси, мессирю Жану Венскому и еще

нескольким приглашенным лицам.

В это время мимо слуг, несших горящие факелы, прошли двое неизвестных и погасили светильники. Мессир Оливье тотчас остановился и, подумав, что это шутка герцога Туренского, который, должно быть, догнал его, весело воскликнул:

– Нехорошо, нехорошо, ваше высочество! Но вас я прощаю: вы человек молодой, вам бы только шутить да забавляться!..

С этими словами он оглянулся назад и увидел множество незнакомых всадников: они смешались с его людьми, а двое находились всего в нескольких шагах от него самого. У Клиссона мелькнула мысль об опасности, и, остановившись, он воскликнул:

– Вы кто такие? Что это значит?

– Смерть! Смерть Клиссону! – ответил человек, стоявший к нему всех ближе, обнажая шпагу.

– Смерть Клиссону?! – вскричал коннетабль. – Да кто ты такой, что позволяешь себе подобную дерзость?

– Я Пьер де Краон, ваш враг, – отвечал рыцарь, – вы нанесли мне жестокое оскорбление, и я должен вам отомстить. – С этими словами он поднялся на стременах и, повернувшись к своим людям, воскликнул: – Вот тот, кого я искал! А ну-ка!..

И он бросился на коннетабля, а люди его стали разгонять свиту Клиссона. Хотя мессир Оливье не имел при себе оружия и был застигнут врасплох, взять его оказалось не так-то просто. Обнажив короткую, длиною фута в два, шпагу, которую он прихватил с собой больше для украшения, чем для защиты, и прикрыв голову левой рукой, он прижался вместе со своей лошадью к стене, чтобы обезопасить себя сзади.

– Убивать их всех, что ли? – кричали люди Пьера де Краона.

– Всех! – отвечал он, нанося удар коннетаблю. – А сейчас ко мне! Сперва разделаемся с проклятым коннетаблем!

Два-три человека отделились от остальных и подбежали к Пьеру де Краону.

Несмотря на силу и ловкость Клиссона, столь неравная борьба долго не могла продолжаться, и в то время как левой рукой он отражал удар, а правой наносил ответный, шпага мессира де Краона вонзилась в его обнаженную голову. Клиссон тяжело вздохнул, выронил шпагу и упал с лошади. При падении он толкнул дверь соседней пекарни, отчего дверь отворилась, и Клиссон растянулся на земле, так что половина его туловища находилась в доме булочника; булочник, пекший в то время хлеб, услышал громкие голоса и конский топот и отпер дверь, чтобы узнать, в чем дело.

Мессир Пьер де Краон хотел было въехать в пекарню верхом на лошади, но дверь оказалась чересчур низкой.

– Может, сойти да и прикончить его? – спросил один из людей Краона.

Не отвечая, Краон двинул лошадь прямо по ногам коннетабля. Видя, что тот не подает признаков жизни, он сказал:

– Нет надобности, с него и этого довольно! Если он еще жив, то все равно долго не протянет. Он ранен в голову, и притом, ручаюсь вам, надежною рукой! Итак, друзья, врассыпную! Сбор за Сент-Антуанскими воротами[13 - Краон назвал Сент-Антуанские ворота потому, что после восстания «майотенов» (1382 г.) цепи и заграждения у этих ворот были сняты по распоряжению самого коннетабля.].

Как только преступники скрылись, люди коннетабля, отделавшиеся в общем довольно легко, собрались около своего господина. Булочник, который его узнал, сразу же пригласил всех к себе в дом. Раненого уложили на постель, принесли свечи. Увидев широкую рану на лбу и столько крови на лице и одежде коннетабля, люди его подумали, что он мертв, и подняли страшный вопль.

Между тем один из них стремглав бросился во дворец Сен-Поль, и, поскольку в нем узнали слугу Клиссона, его провели к королю. Утомившись за день от приемов и церемоний, Карл возвратился в свои покои и уже готовился лечь в постель. В эту минуту к нему в спальню и вбежал бледный, испуганный человек

с криком:

- О ваше величество, ваше величество! Какая беда приключилась!.. Какое несчастье!..

- Что произошло? - встревожился король.

- Мессир Оливье де Клиссон, ваш коннетабль, убит...

- Кто совершил это преступление? - спросил Карл.

- Увы, неизвестно. Все произошло неподалеку от вашего дворца, на улице Сент-Катрин...

- Факелы! Слуги, скорее факелы! - приказал Карл. - Живым или мертвым, но я хочу видеть моего коннетабля.

Он спешно набросил на плечи плащ, слуги обули его в башмаки; не прошло и пяти минут, как вооруженные стражники и часовые были уже в сборе. Король не пожелал дожидаться лошади и вышел из дворца пешком в сопровождении одних только факелоносцев и двух своих камергеров - мессиров Гийома Мартеля и Гелиона де Линьяка. Шаггал он быстро и вскоре был уже у дома булочника. Факелоносцы и камергеры остались на улице, король же поспешно вошел в дом и, сразу направившись к постели раненого, взял его за руку и сказал:

- Это я, коннетабль, как вы себя чувствуете?

- Любезный мой король... - еле слышно прошептал коннетабль.

- Кто же изувечил вас, мой дорогой Оливье?

- Мессир Пьер де Краон со своими сообщниками... Они предательски напали на меня, застали врасплох, когда я был безоружен...

- Коннетабль, - сказал король, положив ему на грудь свою руку, - клянусь вам, ни одного преступника еще не ждала столь суровая кара. Но сейчас надо позаботиться о вашем здоровье. Где врачи, где хирурги?

– За ними послано, ваше величество, – ответил один из слуг коннетабля.

И в эту самую минуту вошли медики. Король направился к тому, который вошел первым, и подвел его к постели Оливье.

– Осмотрите моего коннетабля, господа, – обратился он к медикам, – и скажите, каково его положение, ибо ранение Клиссона тревожит меня больше, чем встревожило бы мое собственное.

Врачи стали осматривать коннетабля, но король был так нетерпелив, что едва дал им время наложить повязку на рану.

– Жизнь его под угрозой? Отвечайте же мне, господа! – поминутно спрашивал он.

Тогда тот из врачей, который казался наиболее опытным и умелым, повернулся к королю и сказал:

– Нет, ваше величество, и мы вам ручаемся, что через две недели он будет гарцевать на лошади.

Король поискал какую-нибудь цепочку, кошелек, словом, что-нибудь, чтобы в благодарность подарить этому человеку, но, ничего не найдя, просто его поцеловал и тут же обратился к коннетаблю:

– Надеюсь, Оливье, вы слышали? Через две недели вы будете совершенно здоровы, как будто с вами ничего и не случилось. Вы, господа, очень меня обрадовали, и мы не забудем вашего искусства. Теперь, Клиссон, думайте лишь о том, чтобы поправиться, ибо я повторяю: ни одно преступление, ни один злодей не подвергался за свое злодейство такому жестокому наказанию, никогда за пролитую кровь не лилось еще столько крови, сколько прольется за вашу, Клиссон: положитесь на меня, я отомщу!

– Да вознаградит вас Господь Бог, ваше величество, – промолвил коннетабль, – и особенно за то, что навестили меня.

– И не в последний раз, дорогой Клиссон: я хочу распорядиться, чтобы вас поместили во дворец Сен-Поль, отсюда это ближе, чем ваш дом.

Клиссон уже хотел поднести руку короля к своим губам, но Карл сам по-братски поцеловал его.

– Мне пора, – сказал он, – я жду к себе парижского прево, хочу отдать ему кое-какие распоряжения.

С этими словами Карл простился с коннетаблем и вернулся во дворец, где застал того, за кем посылал.

– Прево, – начал король, усевшись в кресло, – соберите людей: откуда хотите, откуда сможете. Посадите их на добрых коней и по полям и дорогам, по горам и долинам ищите этого предателя Краона, который нанес рану моему коннетаблю. Знайте: если вы его найдете, схватите и доставите нам, то лучшей услуги оказать нам не сможете.

– Государь, я сделаю все, что в моих силах, – заверил прево. – Но скажите, в каком направлении он мог скрыться?

– Ваше дело об этом справиться и все разузнать, – ответил король. – Действуйте, да побыстрее. Ступайте.

Прево вышел.

Поручение было не из легких. В ту пору четверо главных парижских ворот не запирались ни днем ни ночью: таков был приказ, отданный по возвращении после Розебекской битвы, в которой король разбил фламандцев. А посоветовал дать такой приказ сам мессир Оливье де Клиссон для того, чтобы король всегда был хозяином в своем городе Париже, жители которого в его отсутствие взбунтовались. С тех пор ворота сняли с петель, и они лежали на земле; цепи, преграждавшие улицы и перекрестки, тоже убрали, чтобы королевская стража могла свободно ходить по ним в ночное время. И неудивительно ли, что мессир Оливье де Клиссон, хлопотавший об этом приказе, сам от него же и пострадал? Ибо если бы городские ворота были заперты и цепи висели на своих местах, Пьер де Краон ни за что не осмелился бы нанести королю и его коннетаблю то оскорбление, которое он им нанес: он бы знал, что, совершив преступление,

непременно будет наказан.

Но ни ворот, ни цепей не было: явившись к месту сбора, Пьер де Краон и его сообщники увидели, что все пути им открыты. Одни говорят, что мессир де Краон переправился через Сену по Шарантонскому мосту, другие утверждают, будто он обогнул укрепления, миновал подножие Монмартра и, оставив слева ворота Сент-Оноре, пересек реку у Понсона. Наверняка же можно сказать лишь то, что часам к восьми он прибыл в Шартр вместе с теми из своих людей, у кого лошади оказались повыносливее; остальные отстали по дороге: либо не выдержали их лошади, либо они боялись, что, прибыв столь многочисленным отрядом, могут возбудить подозрения. В Шартре один каноник, служивший у Пьера де Краона писарем, добыл ему, сам не ведая для какой надобности, других лошадей, и через час тот уже мчался по Мэнской дороге, а спустя тридцать часов был в своем замке Сабле. Только здесь он наконец остановился, ибо только здесь мог считать себя в безопасности.

Тем временем по приказанию короля парижский прево с отрядом в шестьдесят вооруженных всадников выехал из Парижа. Он направился через ворота Сент-Оноре и, обнаружив свежие лошадиные следы, двигался по этим следам до Шеневьера. Увидев, что дальше следы ведут к Сене, прево справился у понсонского сборщика пошлины, не проезжал ли кто через мост нынешним утром. Сборщик ответил, что около двух часов он видел, как человек двенадцать на лошадях переехали на другую сторону реки, но он никого не узнал, потому что одни были с ног до головы закованы в латы, а другие закутаны в плащи.

- По какой же дороге они двинулись? - спросил прево.

- По дороге на Эвре, - отвечал сборщик.

- Так и есть, они едут прямо на Шербур! - воскликнул прево.

И он направился в Шербур, оставив дорогу на Шартр. Через три часа им повстречался некий дворянин, охотившийся на зайцев. На их расспросы он сказал, что утром видел человек пятнадцать всадников, которые, как ему показалось, были в нерешительности, куда им ехать, и в конце концов выбрали дорогу на Шартр. Дворянин этот сам проводил всадников до места, где они с дороги свернули в поле. Земля от недавних дождей была мягкой и рыхлой, и на ней действительно виднелись свежие следы проехавшего здесь довольно

большого отряда. Тогда прево и его люди крупной рысью поскакали по дороге на Шартр, но, поскольку они уже потеряли немало времени, в Шартре они были только вечером.

Они узнали, что мессир Пьер де Краон проезжал тут поутру; им назвали имя каноника, у которого он завтракал и сменил лошадей, однако сведения эти опоздали; догнать преступника было невозможно. Поэтому прево приказал своим людям возвращаться обратно в Париж, куда они и прибыли в субботу вечером.

Герцог Туренский, со своей стороны, послал в погоню за своим бывшим любимцем мессира Жана де Бара. Тот собрал полсотни всадников и, выбрав хорошую дорогу, отправился в путь вместе с отрядом через Сент-Антуанские ворота; однако, не найдя ни проводника, ни следов преступника, он свернул вправо, пересек Марну и Сену по Шарантонскому мосту, прибыл в Этамп и наконец в субботу вечером был в Шартре. Здесь он узнал то же самое, что узнал парижский прево, и, подобно ему, отчаявшись настичь того, за кем оба они гнались, повернул обратно в Париж.

Тем временем королевские стражники, дозором обходя деревни, нашли в одном селении, неподалеку от Парижа, двоих вооруженных людей и одного пажа, которые, загнав своих лошадей, отстали от отряда де Краона; их тотчас схватили, доставили в Париж и заключили в Шатле. Через два дня этих людей отвели на улицу Сент-Катрин к дому булочника, где совершено было преступление, и там отрубили им кисти рук; затем их повели на рыночную площадь и отрубили головы и, наконец, повесили за ноги.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Авторы, подробнее всего повествующие о въезде королевы Изабеллы Баварской в Париж, это Фруассар, Ювенал Юрсен и монах из монастыря Сен-Дени. (Здесь и далее примечания А. Дюма.)

2

Как известно, королева Изабелла была дочерью герцога Этьена Баварского Ингольштадт и Тадеи Миланской.

3

Этот бриллиант, находившийся во время Грансонского сражения среди сокровищ Карла Отважного, попал в руки швейцарцев, в 1492 г. в Люцерне был продан за 5000 дукатов и оттуда попал в Португалию, в собственность дона Антонио, настоятеля монастыря де Карто. Будучи последним представителем ветви Брагансов, потерявший трон, дон Антонио прибыл в Париж, где и умер. Бриллиант был куплен Никола Арле де Санси (1546–1629), откуда и пошло его название. Помнится, в последний раз его оценили в 1 820 000 франков.

4

Фруассар и монах из монастыря Сен-Дени рассказывают об одном и том же факте, только местом действия Фруассар называет мост Сен-Мишель, а монах – мост Менял. Но Фруассар явно ошибается: подобное зрелище не могло быть подготовлено на мосту Сен-Мишель, который находится по другую сторону собора Парижской Богоматери, и, следовательно, королева по нему не проезжала.

5

Подобные упреки, разумеется, никогда не относились к Гизо Шатобриану и Тьерри.

6

Мадемуазель называли женщиной, чей муж еще не был посвящен в рыцари.

7

Свидетельство Фруассара и монаха из монастыря Сен-Дени.

8

Это были король, герцоги Беррийский, Бургундский и Бурбонский, граф де ла Марш, мессир Жакмар де Бурбон, его брат мессир Гийом де Намюр, мессеры Оливье де Клиссон, Жак Венский, Жакмен Венский, его брат, мессир Ги де ла Тремуй, мессир Гийом, его брат мессир Филипп де Бар, сеньор де Рошфор, сеньор де Рэ, сир де Бомануар, мессир Жан де Барбансон, герцог Фландрский, сеньор де Куси, мессир Жан де Баррес, сеньоры де Нантуйе, де ла Рошфуко, де Гарансьер, мессир Жан де Арпедан, барон де Сен-Вери, мессеры Пьер де Краон, Реньо де Руа, Жоффруа де Шорни и Гийом де Линьяк.

9

Первые укрепления были снесены по приказу Людовика VIII.

10

«Городу и миру» (лат.).

11

Авиньон в то время не принадлежал Франции: он являлся столицей самостоятельного графства.

12

Ныне – рынок Сен-Жан.

13

Краон назвал Сент-Антуанские ворота потому, что после восстания «майотенов» (1382 г.) цепи и заграждения у этих ворот были сняты по распоряжению самого коннетабля.

Купити: <https://tellnovel.me/aleksandr-dyuma/izabella-bavarskaya>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)